

новые материалы
и исследования
по истории
русской культуры

09

ературы.
но.
есть
маровны

История литературы.
Поэтика. Кино.
Сборник в честь
Мариэтты Омаровны
Чудаковой



**Олег Андершанович Лекманов
Екатерина Эдуардовна Лямина
Александр Осповат**

**История литературы.
Поэтика. Кино: Сборник
в честь Мариэтты
Омаровны Чудаковой**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5000567

История литературы. Поэтика. Кино: Сборник в честь Мариэтты

Омаровны Чудаковой: Новое издательство; Москва; 2012

ISBN 978-5-98379-166-4

Аннотация

Сборник «История литературы. Поэтика. Кино» посвящен Мариэтте Омаровне Чудаковой – замечательному ученому, писателю, человеку решительного гражданского поступка. В первом разделе помещены обращения к Мариэтте Омаровне слова уважения и восхищения; во втором – публикуются статьи и материалы, тематика которых соотносится с широкими научными интересами юбиляра.

Содержание

От авторов и издателей	5
I	7
Сергей Гандлевский. Без страха и упрека	7
Александр Кушнер. О Мариэтте Чудаковой	12
Алексей Левинсон. Один в поле	17
Евгений Ясин. Поздравление	22
II	24
Константин Азадовский. Вечер памяти Оксмана	24
Примечания	48
Николай Богомолов. К вопросу о литературных источниках песни А. Галича «Ошибка»	58
Примечания	77
Алина Бодрова. «Духи высшие, не я...»	82
Примечания	96
Сергей Бочаров. Она уже пришла	105
Примечания	120
Михаил Велижев. Крестовые походы – главное событие русской истории?	122
Конец ознакомительного фрагмента.	130

**Редакторы-составители
Екатерина Лямина,
Олег Лекманов,
Александр Осповат
История литературы.
Поэтика. Кино: Сборник
в честь Мариэтты
Омаровны Чудаковой
От авторов и издателей**



Сборник «История литературы. Поэтика. Кино» – приношение Мариэтте Чудаковой. Его название отсылает к классическому тому трудов Тынянова, увидевшему свет тщанием Мариэтты Омаровны, Александра Павловича Чудакова и Евгения Абрамовича Тоддеса. Этот том, известный всему заинтересованному сообществу как ПИЛК, ее собственные книги и публикации, посвященные Олеше, Зощенко, Булгакову, литературе «недавнего прошлого», доставили Чудаковой репутацию выдающегося ученого. Вместе с тем филология – только часть ее жизненной работы. В силовом поле Чудаковой генерируется воля и для других важных дел: писателя, твердо знающего цену своему слову и своим адресатам; просветителя (в том значении, которое не девальвировано во многом благодаря ее постоянным усилиям); собирателя научных сил, зачинщика политической повестки.

Таков – процитируем Мариэтту Омаровну – личный социо-биографический выбор.

I

Сергей Гандлевский. Без страха и упрека

Моя молодость протекала вдали от филологии и филологов, так что какое-то время я списывал на собственную рассеянность тот факт, что автор с одной и той же фамилией оказывался мужчиной, когда писал о Чехове, и женщиной – когда о советской литературе.

В начале 1970-х, купив проездом в Душанбе книжку о Зощенко и прочитав ее уже на Памире – по месту работы в гляциологической партии, я с удивлением узнал, что знаменитый советский писатель был вовсе не эстрадным зубоскалом, как я привычно считал с чьей-то там подачи, а серьезным талантом и трагической личностью.

По прошествии нескольких лет, зная уже, кто есть кто в супружеском союзе двух замечательных ученых, я впервые слушал лекцию Чудаковой в клубе «Московское время», появившемся в перестройку. Из этого выступления я снова же с удивлением узнал, что советская литература не однородна и скучна, как было принято думать в нашем максималистском кругу, а интересна, даже когда убога, и не лишена под-

коверного драматизма и своих взлетов. Я помню, например, что повесть «Судьба барабанщика» исследовательница уподобила Кафке. Помню еще, что, когда речь дошла до вопросов и ответов, Чудакова сказала, что мужчина, несущий на шее гирлянду добытой с боем туалетной бумаги, вряд ли способен на социальный протест.

Если бы я был наблюдательней, я бы задолго до личного и очень лестного для меня знакомства с Мариэттой Омаровной отметил одну стойкую особенность Чудаковой: решительную неприязнь к общим местам.

Она не понимает или делает вид, что не понимает, любимых фигур речи интеллигентского общения. Скажем, на известный застольный вздох: «А что мы можем поделать, ведь от нас ничего не зависит?», Мариэтта Омаровна непременно вмешается и, испортив весь спектакль, выскажется, *что* именно, на ее взгляд, можно было бы предпринять, и *когда* вмешательство в ситуацию не лишено смысла, раз уж говорящий задается таким вопросом – будто бы вопрос не был изначально риторическим.

Интересно, что Александр Павлович Чудаков занимался Чеховым, который, сам будучи человеком чрезвычайно деятельным, иногда – героически деятельным, по большей части описывал людей, увлеченных сотрясением воздуха. У Чудаковой же, в отличие от многих чеховских персонажей, зазор между убеждением и деянием минимальный.

Я чуть было автоматически, под влиянием тех самых об-

щих мест не назвал такую манеру поведения мужественной, если бы мой жизненный опыт не напомнил мне, что она свойственна скорее женщинам: мужчин нередко вполне удовлетворяет гамлетовщина на мелководье.

Мы совсем нечасто видимся, но при каждой встрече я узнаю о серьезных общественных делах и начинаниях Мариэтты Омаровны – и это, как говорилось в СССР, «в нагрузку» к профессии литературоведа – да еще какого!

Несколько лет назад она мимоходом сказала, что опекает детский туберкулезный санаторий на Алтае. Жена моя сделана из похожего теста; она увлеклась Чудаковой, и на какое-то время наша квартира стала подобием вещевого склада: знакомые сносили к нам одежду б/у, одеяла и проч. для отправки на Алтай. Я слышал от рассудительных людей, что кое-что из предпринятого Чудаковой можно было бы сделать и рациональней. Допускаю. Но *делает* именно она – с помощью своего верного друга и «оруженосца» Андрея Мосина, в прошлом «афганца».

Когда мы виделись в последний раз, речь шла уже о лекционных поездках (причем на легковой машине!) по городам и весям страны, включая Сибирь и Дальний Восток, с грузом книг Егора Гайдара и т. п. То есть о гражданском просвещении соотечественников наперерез СМИ, злостно плодящим лживые мифы о советской истории.

Мариэтта Омаровна – последовательный защитник 1990-х годов, которые нынче люди недобросовестные или средне-

го ума, но с претензией, иначе как с кривой улыбкой не поминают. Это форменная загадка! Как если бы человек поливал грязью пору своей первой влюбленности! Что за циничная радость очернять один из просветов в русском XX столетии, которых, вообще-то говоря, наперечет?!

Чудакову отличает нелицеприятная прямота в общении, иногда под прозрачной завесой сарказма. Вот довольно забавный случай. Я проходил таможенный досмотр в Шереметьево-2 перед полетом во Францию на католическое Рождество (для меня такие вояжи вовсе не рутинное дело). И надо было, чтобы Мариэтта Омаровна позвонила мне именно в тот момент! Я объяснил ситуацию, извинился за отрывистость. Чудакова невозмутимо пожелала мне приятного путешествия, вскользь обронив, что наутро ей с единомышленниками предстоит участие в митинге, вполне вероятно, осложненное потасовкой с провокаторами и стычкой с ОМОНОм. Примерно понятно, в каком настроении я пребывал некоторое время после этого телефонного разговора.

Страстная, требовательная и будоражащая собеседника в личном общении, Чудакова сдержанна, объективна и абсолютно корректна в научных трудах. Я сталкивался с подобным «двуличием» у стоящих поэтов – так холерик в быту может быть автором умиротворенных элегий; оказывается, та же двойственность свойственна и хорошим ученым. Мне это нравится: работа по призванию и должна наделять центром тяжести. Пребывание в окрестностях истины уравнивает

ет. Не говоря уже о том, что находить для разных жизненных обстоятельств уместный тон и жанр, а не дудеть в одну и ту же дуду – признак подлинной культуры.

Я рад, дорогая Мариэтта Омаровна, быть Вашим почти-тельным знакомым!

Продолжайте в том же духе еще долгие и долгие годы, дорогая Мариэтта Омаровна!

Александр Кушнер. О Мариэтте Чудаковой

Кажется, ни одно поколение ни в России, ни в какой-нибудь другой стране мира не читало так много, как наше, родившееся до войны и на грани войны, с детских лет узнавшее о существовании смерти, «под трубами вспеленутое, под шеломами взлелеянное», заставшее вождя-изверга и все прелести борьбы с империализмом, с космополитизмом и т. п. — и все-таки счастливое прежде всего тем, что юность совпала со смертью «гения всех времен и народов», после чего, при всех издержках и «возвратных веяниях», жизнь в стране все-таки менялась к лучшему: вторая половина века и начало нового несравнимы с предыдущим ужасом, с участием наших родителей и дедов.

Да, цензура цеплялась за каждое слово, да, не репрессии, но их подобие еще продолжалось, проявить свои способности и таланты было трудно, но чтение спасало нас. «Запретный плод сладок». И никогда не было так сладостно чтение, как в нашей молодости. Мы дышали тем самым «ворованным воздухом», о котором сказано у Мандельштама. Этот ворованный воздух мы находили в запретных и старых книгах, в рукописях — и он давал нам возможность жить в безвоздушном пространстве. Жить, взрослеть, умнеть и овладевать «тайной свободой».

Мариэтта Чудакова принадлежала к этому поколению – и ей, наверное, понятны стихи, которые я сейчас приведу:

И с первых слов влюблялись, и помедля,
И сад был рай, и двор, и подворотня,
А что такое платье для коктейля,
Не знали мы (не знаем и сегодня),
Зато делился мир на тех, кто любит
И кто не любит, скажем, Пастернака.
А с Пастернаком купы были вкупе
И карий стриж, и старая коряга.
И проходила по столу граница,
Можно сказать, по складке и солонке,
И торопился кто-то расплатиться,
Скорей уйти, черт с вами, вы подонки!
Теперь не так, не лучше и не хуже,
А по-другому. Так, как всюду в мире.
Учтивей споры, и доеден ужин,
Скучнее жить, но взгляды стали шире.

Я позволил себе привести это стихотворение полностью, потому что знаю вспыльчивый, горячий характер Мариэтты Чудаковой и очень хорошо представляю ее за таким столом.

Стихи и проза были для нас главными учителями в этой жизни, мало того, с трудом доставая старые издания Хемингуэя или Джойса, бесконечно перечитывая четыре тома Пруста в переводах Федорова и Франковского, мы еще умудрялись сами с грехом пополам, достав французское изда-

ние, перевести для себя хотя бы незабываемую сцену смерти Бергота перед вермееровским «Видом Дельфта», прочесть «Миф о Сизифе» Камю.

Эти авторы были нашей границей, куда нас не пускали, но мы хорошо знали и Париж, и Лондон, и Италию, и Соединенные Штаты, потому что читали Томаса Манна, Фолкнера, Джойса, Генри Джеймса, Грэма Грина, Ходасевича, Павла Муратова и многих, многих других, в том числе Набокова. Русские книги, изданные на Западе, доходили до нас и спасали от удушья. Мы знали мировую живопись, и музыку тоже.

А про русские стихи и прозу и говорить нечего! Мы не просто читали, мы жили стихами Блока, Анненского, Михаила Кузмина, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, Заболоцкого... для нас и русская классика была настольной книгой, мы смогли ее прочесть так, как ее не читали, наверное, современники Гоголя и Толстого, – и сделать из нее свои выводы, не революционные и классовые, а общечеловеческие («По прихоти своей скитаться здесь и там...»).

Незабвенный Александр Павлович Чудаков, муж Мариэтты, увидел нового Чехова, Чехова-лирика, Чехова – русского европейца, Чехова, предпочитавшего крупноблочным идеям, подавляющим человека, вещи повседневного обихода и странность, и грусть, и абсурдность, и необъяснимую прелесть жизни.

А Мариэтта так замечательно прочла и помогла нам про-

честь Булгакова и Зощенко, так точно и зорко увидела нестерпимую печаль, переплетенную с бесценным юмором булгаковского Максудова («Театральный роман» – да что же сравнится с этой незабываемой прозой, иногда кажется, что во всем мире нет ничего равного ей!), так четко и ясно увидела сталинскую подоплеку Воланда и его приспешников из «Мастера и Маргариты», «купальни и бумагопрядильни», «слабогрудую речную волокиту» Москвы-реки с ее «гребешками отдыха, культуры и воды», зачумленный и притягательный город, о котором параллельно булгаковской прозе так зорко и точно сказал Мандельштам!

А поэтика Зощенко, столь безошибочно понятая и оцененная Чудаковой, прозаическое, будничное слово, оказавшееся в этой прозе напряженным и незаменимым, единственно возможным, как в поэзии. Ничего в ней не сдвинуть, не убрать ни одного словечка, ничего нельзя заменить: «Вот еще мне неприятность – нужна писателю идеология!» «Я всегда сочувствовал центральным убеждениям: нэп так нэп, вам видней», «Пришел поэт с тихим, как у таракана, голосом»... А книга об архивах, открывавшая заповедное, волшебное и в то же время самое реальное царство правды в окружающем мире лжи!

В краткой заметке к этому сборнику невозможно перечислить все, сделанное Мариэттой Чудаковой, да и не нужно – об этом расскажут другие. Хочу только сказать еще о своем восхищении подлинной человеческой порядочностью,

бескорыстием, нравственной чистотой политических и общественных устремлений Мариэтты Чудаковой – впрочем, удивляться не приходится: она воспитана и выросла на великой поэзии и прозе.

Алексей Левинсон. Один в поле

М. Ом. – исследователь и литератор, с чьими трудами знакомы многие и многие читатели. Людей, которым доводилось общаться с ней лично, заведомо гораздо меньше. Мне судьба подарила возможность такого общения. На протяжении некоторого времени я был в кругу людей, с которыми М. Ом. по тем или иным причинам поддерживала регулярные отношения. Мы встречались с ней и на работе, и дома. Предметом разговоров были дела и процессы в обществе и в словесности, а более – в науках о том и другом. Потом наши относительно регулярные встречи прекратились. Но мне доводилось вплоть до последнего времени присутствовать при публичных выступлениях М. Ом., слышать ставшие давно знакомыми от нее, но ни от кого более, интонации, видеть никому более не присущие жесты и воспринимать только ею используемые ходы мысли и риторические фигуры.

Об устной и лишь в личном общении наблюдаемой стороне творчества М. Ом. – а я исхожу из убеждения, что то, с чем мне пришлось познакомиться, это род творчества, а не просто личная манера или манерничанье – я и хочу коротко сказать. Рассказываемое мной безусловно известно всем, кому довелось общаться с ней лично. Они и смогут сравнить свои впечатления с моими. Остальным придется верить мне на слово.

Концепция Льва Гумилева приобрела в свое время очень много сторонников, в частности потому, что объясняла/извиняла тот факт, что никто из нас не пассионарий, и рядом с нами таких тоже нет: не та эпоха! Но именно тогда, когда и люди, и эпоха казались начисто лишенными страсти и страстности, мне довелось встретиться с М. Ом. В поле, которое существовало вокруг нее, я несколько раз входил и один, и с другими людьми. Именно поэтому мог убедиться, что мои реакции и мое ощущение высокого и притом вибрирующего напряжения – не особенность лишь моей слабой души. То же самое, то есть пропитывающую пространство страсть и страстность чувствовали многие, вероятно – все. (Говоря «все», я имею в виду всех, кроме родных М. Ом., для них другой счет.) И все, как мне кажется, чувствовали, что они пасуют, не умеют и не могут соответствовать предлагаемому ею темпу мысли, мере эмоциональной наполненности, уровню нравственного напряжения. Не могут, потому за глаза посмеиваются. Одни – над собой, а другие, кто этого не умеет, – над ней. А она в самом деле предлагала и предлагает общение не на обычном уровне. О повседневном будете говорить с другими; со мной будете иначе, будете иными, – так строила коммуникацию М. Ом. со всеми, кого я знаю. Правда, иногда она шла навстречу человеку, которому были совсем не под силу или совсем не органичны такие условия. Для подобных людей (например, для меня) предусматривался режим, по сути, тот же, но на меньших скоростях – на та-

ких, к которым человек мог хоть как-то приспособиться.

Не мое дело догадываться, зачем и почему М. Ом. так строит свое общение с людьми. Но считаю себя вправе высказать догадку насчет того, как она это делала и делает. Такая компрессия мысли и эмоции, которую М. Ом. культивирует в коммуникации и которую предлагает поддерживать всем участникам, не характерна для бытового общения. Она может встречаться в выступлениях ученых – но в выступлениях, написанных заранее по случаю участия в важной конференции с ограниченным регламентом. Такой компрессии добивается иной поэт, например И. Бродский, но опять-таки не в бытовой речи, а в написанном тексте, прежде всего в стихе. Так могут говорить люди на сцене, например, персонажи из шекспировских пьес. Чтобы не пугать сравнением М. Ом. с Шекспиром, могу сказать, что по таким же правилам строит свои выступления М. Жванецкий. Но все названные примеры относятся, повторяю, к речам, текстам, обдуманым и выстроенным загодя. Речь М. Ом. творима здесь и сейчас. Тем не менее эта речь в силу названных причин имеет не только повышенную интеллектуальную нагруженность, но и особые эстетические качества, которые собеседникам предлагается оценить. Участие в общении с любым собеседником или в любом обществе, где мне приходилось это наблюдать, всегда было творческим актом или творческим процессом и всегда – вызовом партнеру: теперь попробуй ты так же. Партнером мог быть и один человек, и полный зал.

Ничего не буду говорить о работе М. Ом. в области словесности. Скажу об ином. Пассионарность М. Ом. влекла ее навстречу политике, навстречу общественным вопросам. Не все случаи, когда такие выходы совершались, мне известны, но некоторые, о коих знаю, имели порой одну особенность. М. Ом., бывало, принимала задачу или цель, поставленную не ею, и начинала бороться как за свою. Это значит, своими средствами, в своем стиле, своем духе. В большинстве тех случаев, о которых я говорю, такая переработка задачи под свои манеры разлучала, разводила М. Ом. как исполнителя, как борца за идею с изначальным хозяином этой идеи, с изначальным постановщиком этой цели. Политикам нужно, чтобы им служили по-ихнему, а не по-своему. Страсти, вносимой таким, как М. Ом., союзником, они не ценят. Страстность и принятие их целей как собственных им вовсе не требуется, ибо пугает отсутствием возможностей управлять таким союзником.

Похожие феномены возникают и тогда, когда М. Ом. сама начинает искать союзников по делу, которому она отдается. А как она отдается, это хорошо знают те, кого она зовет с собой. Знают, и потому робеют. Они понимают, что к ним будут предъявлены требования, которым они, скорее всего, не сумеют ответить.

В силу названных причин М. Ом. оказывается, как правило, одиноким воином в любом поле. Но в силу того, о чем уже было сказано, ей, как правило, удастся опровергнуть по-

СЛОВИЦУ.

Евгений Ясин. Поздравление

У Мариэтты Омаровны Чудаковой юбилей. Сразу поздравлю, желаю долгих лет здоровой жизни, творческих удач, исполнения желаний. Это стандартный минимальный набор. Но за каждым из них длинный и интересный подтекст, отражающий сущность этой замечательной женщины.

Я остановил свою руку, когда выше написал: «желаю... исполнения желаний». И это в поздравлении мастеру слова! Долго думал, а потом оставил, как написалось. Потому что яркие, чаще всего общественные желания составляют важную сторону всей ее кипучей, никогда не равнодушной натуры. Для исполнения их она непрерывно работает – и по обязанности, и по глубокому внутреннему чувству, заражающему окружающих верой в завтрашний день, в лучшее будущее.

На самом деле людей, подобных Мариэтте Омаровне, очень мало; поражаешься ее энергии, даже большей, чем в прежние годы, доброжелательности и человечности. Иногда приходит мысль: кто заменит Чудакову?.. А потом думаю: во-первых, мое первое пожелание, несомненно, если для кого и используется, то в первую очередь для таких как Мариэтта Омаровна. А во-вторых, она так много работает над тем, чтобы передать свои прекрасные, столь характерные для истинной русской интеллигенции идеалы свободы, демокра-

тии, глубокой культуры, тонкого вкуса, что, я убежден, хотя бы несколько молодых людей примут эстафету и продолжат благородное дело. Их будет все больше, и с нашей родиной случится то, чего она желает.

Дорогая Мариэтта Омаровна!

Люблю, целую, пусть Вы всегда будете испытывать чувства законной гордости и глубокого удовлетворения за то, что Вы делаете. И при этом – чтобы Вы всегда оставались беспокойны и устремлены к новым добрым делам.

II

Константин Азадовский. Вечер памяти Оксмана

В одной из своих недавних работ Мариэтта Чудакова затронула вопрос о роли личности в российской истории XX века. Напомнив о людях, которые «своими действиями, и не только прямо диссидентскими (такими, как выход на Красную площадь группы протестантов против вторжения в Прагу), а порой сугубо научными <... > участвовали в формировании того, а не иного характера литературного и научного (во всяком случае, это относится к наукам гуманитарным) процесса, в создании морального климата, системы политических оценок, неписанной шкалы этических ценностей»¹, исследовательница подчеркнула роль поколения, вернувшегося в 1950-е годы из лагерей и ссылок и – *заговорившего*: пытавшегося в условиях «оттепели» восстановить нашу изуродованную историю, вернуть утраченные имена и моральные ценности, навсегда, казалось, изъятые из культурного оборота.

К этому поколению, чье «воздействие на толщу культурного субстрата»² исподволь осуществлялось в 1950-е и 1960-

е годы, принадлежал и Юлиан Оксман, вернувшийся с Колымы (после десятилетнего отсутствия) в конце 1946 года, – выдающийся ученый, историк русской литературы и общественной мысли, которого неизменно – и задолго до хрущевской «оттепели»! – отличало поразительное свойство, начисто утраченное в интеллигентской среде за годы сталинского террора: гражданское бесстрашие, способность и желание *говорить* в условиях тотальной и угнетающей немоты.

Жизненный путь Оксмана сегодня достаточно изучен. За последние двадцать с лишним лет появилось немало статей, воспоминаний и публикаций, посвященных биографии и научной деятельности ученого. Отметим лишь одно, едва ли не главное обстоятельство. Историк русского освободительного движения и узник сталинского ГУЛАГа с десятилетним стажем (1936–1946), Оксман оказался одним из первых участников освободительного движения 1960-х годов. По собственной инициативе он начал в эпоху «оттепели» искать контакты с деятелями русской эмиграции, способствовал распространению в Советском Союзе западных изданий русских поэтов (в частности, стихов О. Мандельштама), энергично участвовал в литературно-научных либеральных начинаниях 1960-х годов. Он открыто стремился к диалогу с западными славистами, охотно завязывал с ними знакомство, вступал в переписку (начало этим сближениям было положено в августе 1958 года – во время проходившего в Москве IV Международного съезда славистов).

О позиции Оксмана той поры красноречиво свидетельствуют его откровенные письма к Г.П. Струве (1962–1963) и опубликованная на Западе (анонимно) статья «Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых» (1963). Оксман использовал любую возможность *говорить*. Такая позиция, как справедливо указал в свое время Л. Флейшман, «не имела тогда прецедента», и даже в кругу единомышленников Оксмана к ней относились «с непониманием и осуждением»³. Не удивительно. Сталинский террор до такой степени вытравил из людей гражданское сознание, что каждый, кто отваживался говорить «в полный голос», казался в ту пору безумцем или провокатором.

Переписка с западными коллегами, откровенные беседы с ними в московской квартире, тяготение к русскоязычному «тамиздату» – все это предопределило новое столкновение Оксмана с Системой. Обыск в августе 1963 года, допрос и увольнение из Института мировой литературы превратили старшего научного сотрудника престижного академического учреждения в безработного пенсионера, вынужденного, как и в 1947 году, искать прибежища в провинции (с трудом удалось устроиться профессором-консультантом в Горьковском университете), печататься под псевдонимом и жить, постоянно чувствуя под собой зыбкую почву... «Снова, как и в 1936–1946 гг., – пишет Л. Флейшман, – имя Оксмана стало запретным и изымалось даже из библиографических ссылок на старые, довоенные издания классиков, книги и статьи»⁴.

Последнее утверждение требует оговорок, ибо действия карательных органов в отношении Оксмана в 1960-х годах отличались непоследовательностью. С одной стороны, обыск, допрос, исключение из Союза писателей и увольнение с работы; с другой – отсутствие «разоблачительных» упоминаний в официальной печати, шельмующих «антисоветчика», не говоря уже о более жестких мерах: аресте, следствии, приговоре. Имя Оксмана не исчезает полностью со страниц советских научных изданий, хотя и появляется в них крайне редко. Вокруг ученого складывается двойственная ситуация – в духе внутренней советской политики того времени. С одной стороны, его имя попадает под запрет, становится нежелательным⁵. Однако негласный характер этого запрета делает его необязательным. Запрет принимает рекомендательную форму, становится полузапретом, который при желании удастся преодолеть (прибегая, в частности, к псевдонимам). Все это отражает противоречивую общественную ситуацию брежневской эпохи: наметившаяся ресталинизация, первые диссидентские выступления, нашумевшие судебные процессы (Бродского, Синявского-Даниэля) и в то же время неуверенная и «выборочная» репрессивная тактика в отношении интеллигенции. («То, что во времена культа было трагедией, сейчас похоже больше на какой-то фантастический фарс», – повторял в те годы Юлиан Григорьевич⁶.)

Во всяком случае, распространенное мнение о том, что

Оксман после 1963 года был полностью изъят из обращения (так писал, в частности, Г.П. Струве в своем некрологе⁷), не подтверждается фактами. В действительности ситуация была более сложной, в чем нетрудно убедиться, взглянув на список печатных трудов Оксмана, составленный К.П. Богачевской и В.А. Черных⁸. В 1963–1965 годах Оксман продолжает публиковаться, и, судя по всему, его имя (как автора, рецензента и редактора) не вызывает активного противодействия со стороны Главлита. В 1964 году в серии «Литературные памятники» выходит подготовленная им к изданию «Капитанская дочка» Пушкина. В 1965 году он публикует (под собственным именем) две статьи и три рецензии (последние – в варшавском журнале *Slavia Orientalis*). В 1966 году Оксману трижды удастся выступить в печати под собственным именем (статья в Ученых записках Горьковского университета и две небольшие заметки в КЛЭ), хотя три другие его работы в тех же Ученых записках печатаются под псевдонимом. В следующем 1967 году Оксман вынужден был укрыться – на страницах альманаха «Прометей» – под псевдонимом «Ю. Григорьев». 1968 год вообще выпадает из списка (ни одной публикации). В 1969 году – всего одна (полторы страницы печатного текста в том же «Прометее») под псевдонимом «Ю. Григорьев».

Двусмысленную ситуацию, в которой оказался Оксман в последние годы своей жизни, иллюстрирует эпизод, приведенный в воспоминаниях Л.Н. Назаровой (1910–2005), исто-

рика русской литературы. Во второй половине 1960-х годов издательство Академии наук СССР потребовало, чтобы из книги «Библиография литературы о И.С. Тургеневе. 1918–1967» были удалены все упоминания об Оксмани. «...Я как редактор отказалась это сделать, – пишет Л.Н. Назарова. – Взяла в издательстве машинопись библиографии и сказала, что не буду пока печатать ее. Библиография вышла позднее, лишь в 1970 году – все труды Оксмана в ней указаны»⁹.

К.П. Богаевская (1911–2002), верный многолетний друг Оксмана, вспоминает, рассказывая о мытарствах Юлиана Григорьевича в 1960-х годах: «Его почти перестают печатать»¹⁰. Это «почти» – многозначительно. Оксмана действительно не печатали, но время от времени он все же пробивался в печать.

Можно сказать, что в 1960-е годы за Оксмана – исподволь и открыто – велась борьба, в которой принимали участие разные люди – от известных писателей до издательских редакторов, газетных и типографских работников и даже... партийных начальников. Приведем характерный пример, сообщенный В.В. Пугачевым и В.А. Динесом:

Начальник горьковского обллита Андрей Семенович Ульянов знал и про Колыму, и про исключение из Союза писателей, и про цензурные гонения в Москве и Ленинграде. Но он относился к Оксману с величайшим уважением и немедленно подписывал к печати сборники с оксмановской

фамилией. Это не прошло незамеченным. В октябре 1966 г. А.С. Ульянову позвонили из Главлита. Сделали замечание за пропуск в печать фамилии Оксмана и предупредили о необходимости изъятия его фамилии впредь (хотя письменного запрещения не было). Между тем на столе у А.С. Ульянова уже лежал на подпись второй том этого выпуска <речь идет о втором томе 78-го выпуска «Ученых записок» Горьковского университета^ где были напечатаны три статьи запрещенного автора <...> Весь сборник мог пойти под нож (а тираж был уже отпечатан). Оксман предложил заменить его фамилию псевдонимами. Ульянов внес контрпредложение: заменить фамилию на псевдонимы только в сигнальных экземплярах, а в остальном тираже фамилию Оксмана не изымать. Но против этого возражал сам Юлиан Григорьевич, считавший невозможным ставить под удар весь университет из-за одного человека. <...> Статьи вышли под псевдонимами А.А. Осокин и Ю. Григорьев. В сборнике сознательно искажена дата подписи в печать «2.3.1966» – на самом деле в декабре 1966 г. директор Борской типографии Николай Петрович Линьков знал обо всем этом и молчал; и он, и Ульянов могли быть уволены с работы. А.И. Солженицын прав: у нас *было* сопротивление¹¹.

Борьба за Оксмана велась и после его смерти (15 сентября 1970 года). Скромное число публикаций, которое удалось осуществить в 1970-е годы усилиями его верных друзей и

учеников, говорит само за себя: по одной-две в год (чаще – под псевдонимом) и, как правило, не в столичных изданиях: саратовский сборник 1971 года («Освободительное движение в России»), рижский «Пушкинский сборник» 1974 года, иркутский декабристский сборник 1975 года («В сердцах Отечества сынов») и др. Впрочем, в 1977 году одна из работ Оксмана увидела свет в 87-м томе «Литературного наследства»¹², возглавлявшегося И.С. Зильберштейном, учеником и почитателем Юлиана Григорьевича. Между 1978 и 1983 годами – ни одной публикации!

Перелом намечается в 1984 году.

В конце 1983 – начале 1984 года был составлен и подготовлен к печати Первый Тыняновский сборник (издан осенью 1984 года; тираж – 1000 экземпляров), отражающий и дополняющий содержание Первых Тыняновских чтений в г. Резекне (май 1982 года). Ответственным редактором (правильней – организатором) Чтений и сборника была М.О. Чудакова. От внимательного читателя не могло укрыться, что одним из «героев» Тыняновского сборника, чье имя переходило из одной работы в другую, был Ю.Г. Оксман. О нем упоминалось во вступительном слове В.А. Каверина, горячо поддерживавшего Тыняновские чтения и в печати, и личным участием, в статье В.В. Пугачева «К вопросу о Пушкине и декабристах», но особенно – в «сообщении» М.О. Чудаковой и Е.А. Тоддеса под названием «Тынянов в воспомина-

ниях современника». Не названный в заглавии «современник» и был Ю.Г. Оксман (в основном тексте он фигурирует также как «мемуарист» — авторы явно стремились не «перегружать» публикацию одиозной фамилией), а само «сообщение» (объемом в 25 печатных страниц!) содержало обстоятельную информацию о «мемуаристе», обогащенную рядом архивных документов (в том числе выдержками из незавершенного очерка Оксмана о Тынянове и его писем к В.А. Каверину, И.Н. Розанову, Л.Н. Тыняновой, Н.К. Пиксанову).

Сборник, увидевший свет осенью 1984 года, не остался незамеченным, причем рецензенты, откликнувшиеся на его появление, сочли необходимым отметить (и даже подчеркнуть) имя Оксмана, придавшее Первым Тыняновским чтениям особое звучание¹³.

В январе 1985 года мне стало известно, что в Москве готовится вечер памяти Оксмана, приуроченный к его 90-летию. Желая попасть на этот вечер (Оксман был другом и многолетним корреспондентом моего отца, да и мне самому не раз приходилось встречаться с Ю.Г. в 1960-е годы), я устроил свои дела таким образом, чтобы оказаться в этот день в Москве.

Вечер, назначенный на 14 января, состоялся в стенах государственного учреждения — Музее В.В. Маяковского, расположенного по соседству с грозным зданием на Лубянке. Инициатором вечера была Мариэтта Омаровна. Собралось

около тридцати человек: люди одного круга, знакомые друг с другом и ясно представлявшие себе масштаб Оксмана-ученого и личность Оксмана-гражданина.

Позднее, упоминая об этом событии, М.О. Чудакова и Е.А. Тоддес назовут его «конференцией», проведенной Государственным музеем В.В. Маяковского совместно с Секцией документальных памятников московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры¹⁴. Так, конечно, и было: согласовывая проведение этого вечера «в инстанциях», дирекция Музея Маяковского была вынуждена придать ему убедительный «статус». Однако тот вечер – каким он сохранился в моей памяти – менее всего напоминал «конференцию», связанную с «охраной памятников». Атмосфера необычности и даже торжественности ощущалась всеми его участниками.

Дальнейшее изложение восходит преимущественно к моему краткому конспекту (высказывания, записанные дословно, приводятся в кавычках). Приношу извинения за отрывочность изложения и возможные неточности – они объясняются несовершенством моих наскоро сделанных помет. Сознаю и другое: на фоне нынешнего оксмановского «бума» приведенные ниже сведения вряд ли могут претендовать на особую новизну. Но точность и свежесть фактов в данном случае, полагаю, не главное. Никакая самая достоверная запись, содержащая даже неизвестные доселе подробности, не в состоянии передать общее настроение того вечера: выра-

жение на лицах людей, сидевших в зале, скрытые эмоции выступавших, их интонации, говорившие подчас больше, чем произнесенные вслух слова, и конечно же та «волну», которая незримо объединяла присутствующих.

Вечер открыла Мариэтта Чудакова. За двенадцать с лишним лет, – взволнованно сказала она, – прошедших после смерти Юлиана Григорьевича, нынешнее заседание – первое, посвященное его памяти. Остановившись на биографии ученого, чья жизнь «дважды деформировалась под напором внешних обстоятельств», Мариэтта Омаровна напомнила слушателям основные вехи его пути: пушкинский семинарий С.А. Венгерова в Петербургском университете («среди молодых его участников он был одним из самых активных»); Одесский археологический институт («в 25 лет становится его ректором»¹⁵); начало 1920-х годов и заслуги Оксмана в области архивного дела; его стремительное восхождение по научно-академической и служебной лестнице в конце 1920-х – начале 1930-х годов (в 38 лет – заместитель директора Пушкинского Дома), резко оборвавшееся в связи с его «исчезновением» в ноябре 1936 года. Первые архивные находки и связанные с ними публикации в журналах «Русский библиофил» (1915)¹⁶ и «Нива» (1917), обозначившие устойчивый интерес Оксмана к Пушкину. Многочисленные и поныне не утратившие своего значения работы Оксмана-пушкиниста: «Путеводитель по Пушкину», из-

дания Пушкина в «Academia», «Полное собрание сочинений», пушкинский том «Литературного наследства» и т. д. Выступление Мариэтты Омаровны было проникнуто мыслью об историке-гражданине, чьи научные занятия нельзя оторвать от современной ему действительности и собственной драматической судьбы. «Его деятельность явственно отражала общественный подъем конца 1950-х – начала 1960-х годов. Характерно, что Оксмана в особенности интересовали отношения литературы с властью, цензурой – именно с этой точки зрения в поле его зрения был весь XIX век: Рылеев, декабристы, Пушкин, Белинский, Герцен, Тургенев...». Закономерно также его участие в «либеральных» серийных изданиях 1960-х годов («Литературные памятники», «Литературные мемуары», «Литературное наследство», «Краткая литературная энциклопедия»).

В эпоху тотальной лжи, в которую довелось жить и работать Оксману, значение документа существенно возрастает – быть может поэтому «Ю.Г. Оксман придавал особое значение публикации мемуаров». Он считал не только возможным, но даже желательным публицистический элемент в научной работе, придавал особое значение таким жанрам, как обзор или рецензия («Рецензия есть самый емкий жанр научной прозы» – процитировала М.О. Чудакова фразу из письма Оксмана к К.П. Богаевской).

Отрывки из писем Оксмана оглашались в тот вечер едва ли не впервые; это была их «первая публикация». Позднее

станет ясно, что эпистолярные послания Оксмана принадлежат к числу выдающихся документальных свидетельств советской эпохи, не говоря уже об их высокой литературности. Свою потребность *говорить* Юлиан Григорьевич реализовывал в многочисленных письмах к друзьям и коллегам, в своих жестких – порой пристрастных, порой убийственно справедливых – характеристиках людей и событий. Узник колымского лагеря, затем – профессор Саратовского университета, в эпоху «оттепели» – научный сотрудник Института мировой литературы, он не боялся писать то, что думал, и высказывался в своих письмах «со всей свободой разговора»¹⁶. Говоря о его колымских письмах к жене Антонине Петровне (урожд. Семеновой; 1894–1984), Мариэтта Омаровна привела ее фразу: «Он писал бесстрашные письма – настолько, что мы, сидя дома, дрожали, читая их».

Одним из ближайших к Оксману людей (после 1945 года) был В.А. Каверин, свидетель тесной дружбы, соединявшей Юлиана Григорьевича с Ю.Н. Тыняновым (Лидия Николаевна, сестра Тынянова, была женой Каверина)¹⁷. В квартире Кавериных хранилась часть библиотеки Оксмана, и в начале 1947 года, вернувшись в Москву, он сразу же бросился к этим книжным полкам.

Выразительно прозвучала цитата из письма Оксмана к И.Н. Розанову от 30 июля 1945 года (в связи с 70-летием Ивана Никаноровича): «Не знаю, во что обернется мне будущее. Иногда я все-таки в него еще верю».

Закончив свое выступление, М. Чудакова сообщила о ме-
муарной заметке, написанной «для сегодняшнего вечера»
И.Б. Роднянской и посвященной выступлению Оксмана в
1964 году в Институте мировой литературы при обсуждении
первых томов Краткой литературной энциклопедии. Пар-
тийное руководство ИМЛИ подвергло нападкам редакцию
КЛЭ, в частности, за то, что она уделила внимание молодым,
еще совсем неизвестным поэтам с сомнительной репутаци-
ей. В особенности досталось самой Роднянской за краткую
заметку об Андрее Вознесенском. В завязавшейся дискуссии
выступил Ю.Г. Оксман, «и слово его дышало самым насто-
ящим гневом» (притом что поэзия Вознесенского вряд ли
отвечала его литературному вкусу). «Что это за Аристархи
такие, говорил он, которые с брезгливостью и высокомери-
ем третируют молодую поросль литературы, считая ее недо-
стойной внимания и непричастной к литературному процес-
су, пока она не остепенится и не задубеет?!»¹⁸.

Упомянув о похоронах Оксмана на Востряковском клад-
бище, Мариэтта Омаровна напомнила слова одного из вы-
ступавших у открытого гроба: «Кому нужно было, чтобы та-
кая огромная интеллектуальная энергия уходила в песок!
Она могла бы вертеть колесами!»¹⁹

Затем слово было предоставлено Л.М. Долотовой (1925–
1995), выпускнице Саратовского университета (аспирантке
А.П. Скафтымова), принятой в 1957 году (при деятельной
поддержке Оксмана) на работу в Институт мировой литера-

туры. «Он выделялся своим внешним видом на фоне своих саратовских коллег», – сказала Лира (Аполлинария) Михайловна. Он был чрезвычайно подвижен («У него была молниеносная скорость передвижения»). Он щедро раздавал свое время молодым («К нему можно было зайти запросто»). Л.М. Долотова вспомнила спецкурс по Белинскому, который Оксман читал в Саратовском университете, и его стремление приобщить молодежь к цеху научных работников. В конце 1950-х – начале 1960-х годов Оксман и Долотова работали вместе в ИМЛИ, сотрудничали в одних и тех же изданиях (Полное собрание сочинений Тургенева). «Дух критицизма и сомнений в правильности канонических правил у него был очень силен».

К.П. Богаевская не смогла по болезни принять участие в вечере. М.О. Чудакова заочно представила ее публике («секретарь М.А. Цявловского, познакомилась с Оксманом еще в 1930-е годы» и т. д.) и сообщила о ее переписке с Юлианом Григорьевичем, приходящейся в основном на саратовский период (1947–1957) – После смерти Оксмана Богаевская записала свои воспоминания о нем, в частности, о его пребывании на Колыме («Оксман неохотно вспоминал о том времени; но Ксения Петровна кое-что записала»). Фрагменты этих воспоминаний, как и писем Оксмана к ней, которые Ксения Петровна не раз читала в те годы в узком кругу, были позднее опубликованы²⁰, однако в тот вечер они звучали впервые. Мариэтта Омаровна прочитала записанные Богаев-

ской рассказы Оксмана о хироманте, предсказавшем ему будущее («... Не падайте духом, все снова вернется к вам – любимое дело, успех и известность...»), о его чудесном избавлении из тюремного морга, где он пролежал несколько дней среди покойников (его спас врач, распорядившийся перенести умирающего в палату и выдавивший ему в рот несколько капель лимонного сока), о других его спасителях («„Меня спасли три человека: один – уголовник, другой – инженер, третий – врач; я их никогда не забуду“, – говорил Ю.Г. в первые дни после своего возвращения»).

Затем Мариэтта Омаровна читала фрагменты из оксмановских писем к Богаевской: о радушном приеме, оказанном ему в Саратове (в апреле 1947 года); о работе со студентами – будущими пушкинистами; отзывы о статьях Богаевской, подчас критические («Из-за двухтрех крупинок золота вы готовы обезобразить документ»); о смерти Н.Л. Бродского (письмо от 9 июня 1951 года, ныне опубликованное²¹).

Б.Ф. Егоров начал свое выступление с мемуарного эпизода. Оксман, сказал Борис Федорович, изредка делился воспоминаниями о предреволюционном времени. Однажды он признался, что видел Распутина. «Он говорил какой-то спич, тут открылась дверь, и вошел Распутин».

Ю.Г. принадлежал к поколению, для которого письма играли огромную роль. «Он писал большие обстоятельные письма». Его письма поражают своей «безбытностью»; подчас кажется, что у него не было быта («как у поэта»).

К своим эпистолярным посланиям Оксман нередко присоединял «клочки» – он привык экономить бумагу, а потому дописывал письма на маленьких листочках бумаги. (Факт, хорошо известный всем, кому приходилось разбирать письма Оксмана.)

У Бориса Федоровича сохранилось 33 письма Оксмана за 1952–1969 годы; многие из них связаны с попыткой Оксмана перебраться (в 1952 году, когда в Саратове стали сгущаться тучи) в Тартуский университет²². Борис Федорович рассказал также о полемике между Оксманом и С.А. Рейсером по поводу издания в 1950-х годах нового девятитомного собрания сочинений Добролюбова. Рейсер (его поддерживал Б.Ф. Егоров) был сторонником *хронологического* принципа расположения материала, Оксман (инициатор и редактор первых томов Полного собрания сочинений Добролюбова, изданного в 1934–1941 годах) отстаивал *тематический* принцип.

«Он был очень пристрастен», – сказал Борис Федорович, иллюстрируя свои слова отзывом Оксмана о Н.И. Конраде. И непримирим, когда речь шла о халтуре или фальсификации в науке, – не мог, например, сдержать своего возмущения, прочитав книгу В. Баскакова «Мировоззрение Чернышевского»²³.

Историк, декабристовед, пушкинист, многолетний и преданный сподвижник Оксмана В.В. Пугачев (1923–1998) вспомнил о его 60-летнем юбилее, широко отмечавшемся в январе 1955 года в Саратове. Юлиан Григорьевич сказал то-

гда, что лучшие из его работ – еще не написанные. К числу лучших работ Оксмана принадлежат, по мнению Пугачева, статьи, объединенные темой «Пушкин и декабристы», которую исследователю удалось реализовать лишь отчасти. Позднее Оксман расширил эту тематику: «Пушкин, Чаадаев и декабристы»²⁴.

Владимир Владимирович затронул вопрос, которого не раз касался и до, и после 1984 года, – о научном споре Оксмана с Г.А. Гуковским (в связи с «декабристской» X главой «Евгения Онегина») ²⁵. Отношения Юлиана Григорьевича с Гуковским, подчеркнул В.В. Пугачев, были сложными («он относился к Гуковскому с легкой иронией»; «Гуковский был синонимом лекторского успеха»). Страстный полемист, Оксман тем не менее знал подлинную цену своим научным оппонентам. Так, с Б.В. Томашевским он вел многолетний уважительный спор; с Нечкиной же дискутировал совершенно иначе («вел с ней принципиальную борьбу»).

Особенно резко отзывался Оксман по поводу ее книги «Грибоедов и декабристы» («бред сивой кобылы», – сказал он в одной из своих саратовских лекций).

Н.Я. Эйдельман (1930–1989), ученик Оксмана в 1960-е годы, говорил в основном о том, что ему запомнилось из бесед с ним. Так, Юлиан Григорьевич рассказывал, что в 1912–1913 годах он был схвачен за участие в студенческих беспорядках, но вскоре отпущен: приняв во внимание его юный возраст, власти отнеслись к нему снисходительно.

«У него было несколько периодов оптимизма». Он был настроен оптимистически в отличие, например, от Тынянова. «Юрий Николаевич был среди нас пессимист», – говорил о нем Оксман, имея в виду эпоху 1930-х годов. Это время – апогей научно-общественной деятельности Оксмана. Он часто виделся с Горьким, принимал участие в беседах со Сталиным²⁶. Г.М. Кржижановский уговаривал его остаться в Москве. Он баллотировался в члены-корреспонденты Академии наук, но избрание не состоялось в связи с реорганизацией академии в 1934 г.

В 1960-е годы («второй период трудностей») ему особенно помогали В.В. Пугачев и Ю.Н. Коротков²⁷. Его очень защищала Ахматова.

Жизнь Оксмана побуждает задуматься над темой «личность как вклад в культуру» (Чаадаев, Грановский, Станкевич). Его личность присутствовала во всем, что он говорил и делал («Одна его улыбка стоила, может быть, больше, чем тысяча комментариев»). Он представлял собой особый тип личности («человек ренессансного типа»), обладал литературным талантом и любил повторять, что литература выше науки. «Через субъективность своих оценок он выходил на большую объективность». Один из «жанров», в которых проявлялась неповторимая личность Оксмана, был эпиграфический: надписи на книгах.

Натан Яковлевич привел отзыв Оксмана о «пушкинисте Б.» (Д.Д. Благом), «чьи книги господствовали в 1950-е го-

ды»²⁸: «Соглашаться с ним скучно, а спорить опасно».

С упоминания о «пушкинисте Б.» начал свое выступление и А.Л. Осповат, посетивший Оксмана в конце 1960-х годов по поручению Ю.Н. Короткова. У Александра Львовича сохранился конспект их беседы. «Вы учите по учебнику Б<лагого>?»²⁹ – был первый вопрос, иронически заданный Оксманом. Затем он заговорил о преемственности в науке («У нас прервался естественный процесс»), о том, что после долгого перерыва в науку пришли «молодые» (он имел в виду прежде всего Ю.М. Лотмана). Даже когда у нас было время, – сказал Юлиан Григорьевич, – мы ничего не сделали (при этом он показал на себя пальцем): «Надо было писать книги, а не статьи». Обсуждалась диссертационная тема А.Л. Осповата (в то время еще студента – речь шла, должно быть, о некоем отдаленном будущем); Оксман предлагал ему заняться изучением Грановского или Станкевича.

На вопрос «Много ли тем, которых Вы не успели коснуться?» Оксман ответил: «Да. Я всегда хотел написать о русском католицизме: Чаадаев и Тютчев...»

Разговор зашел о работах Оксмана, в частности о его статье «И.С. Тургенев на службе в Министерстве внутренних дел», помещенной в 56-м томе «Ученых записок Саратовского государственного университета» (том был посвящен А.П. Скафтымову). «Я не сказал там самого главного, – заметил Оксман, – это был единственный случай, когда русская культура могла бы сотрудничать с властью: дело подго-

товки освобождения крестьян перешло тогда в руки Министерства внутренних дел».

О письме Белинского к Гоголю³⁰ Юлиан Григорьевич заметил, что это – «особый документ русской культуры: каждый, кто его переписывал, вносил что-то от себя». Говорил также о своей гипотезе, будто А.А. Краевский и В.Ф. Одоевский выступали в 1836 году заодно с Уваровым против Пушкина³¹; эта гипотеза, связанная с историей несостоявшегося «Русского сборника», была подвергнута сомнению еще при жизни Оксмана³².

Держа в руках очередной том тартуской «Семиотики», Оксман напутствовал Александра Львовича словами: «Не занимайтесь поэтикой. Сейчас все бросились заниматься поэтикой. А мы уже – сироты...» («мы» – т. е. историки литературы).

Последнюю часть вечера М.О. Чудакова посвятила чтению его колымских писем, прежде всего к Антонине Петровне Оксман. Непривычно и странно было слышать в январе 1985 года, в самом центре Москвы, этот голос «оттуда», словно прорвавшийся сквозь толщу десятилетий, – о «бесконечной зиме без хороших людей», о доходящих до него письмах с воли («самое важное в моей колымской жизни»), о его физическом состоянии («зимою мучила цинга <...> лечил себя сам ягодами»), об овладевающим им порой отчаянии («Все тоньше и тоньше кажутся мне нити, связываю-

щие меня с заколымским миром»), о неодолимом влечении к интеллектуальной работе («Я с недавнего времени опять стал читать с карандашом в руках...»)³³. Фрагменты писем звучали как убийственные свидетельства о другой эпохе, казалось, давно минувшей, но еще цепко державшей каждого, кто жил тогда в советской стране.

Глубокое впечатление произвели на присутствующих отрывки из письма Оксмана к Л.Н. Тыняновой от 30 мая 1945 года, посвященного смерти Юрия Тынянова. «Юрий Николаевич был для меня не просто близким человеком, а, вместе с Антониной Петровной, самым родным и дорогим существом. В самые страшные минуты нашей разлуки, в часы смертного томления <...> я мысленно разговаривал – не прощался, а именно разговаривал – только с ним. <...> И горько, горько стало мне, гораздо больше, чем тогда, когда опрокидывалась восемь лет назад моя собственная жизнь...»³⁴.

Эту часть своего яркого (насыщенного аллюзиями) выступления Мариэтта Омаровна завершила сообщением о мужественных заступниках Оксмана: Вениамине Каверине (лично обратившись в 1939 году с письмом к Берия, Каверин просил о смягчении участи Оксману) и Корнее Чуковском (пытавшемся защитить опального ученого в середине 1960-х годов)³⁵.

Нет смысла приводить письма Оксмана к жене, обильно

цитированные М.О. Чудаковой: их фрагменты, текст письма к Л.Н. Тыняновой (полностью) и несколько писем А.П. Оксмана к мужу были опубликованы в 1988 году. Эту эпохальную публикацию (с нее, собственно, и начинается «возвращение» Оксмана) М.О. Чудакова и Е.А. Тоддес сочли нужным предварить упоминанием о вечере в Музее Маяковского: «Часть печатаемых писем, а также письма к К.П. Богаевской и Б.Ф. Егорову были оглашены на конференции, посвященной 90-летию со дня рождения ученого и проведенной 14 января 1985 г. <...> Это был первый публичный акт в честь ученого с того момента, как в 1963–1964 гг. судьба его снова круто переменялась – теперь уже в последний раз..»³⁶

Оглядываясь сегодня, из другой эпохи, на вечер памяти Оксмана в Музее Маяковского, невольно задаешься вопросом: каков был подлинный резонанс того вечера (не отмеченного, конечно, ни в одной газете или радиопередаче) и в какой мере он мог способствовать «реабилитации» ученого?

Размышляя над этим вопросом, следует помнить, что гражданская позиция в условиях тоталитарного гнета проявляется не в митингах и громких протестах, а чаще – в незаметных для широкой публики событиях (разговорах, встречах, «малых делах»). Независимые мнения, высказанные в узком кругу, заявления, идущие вразрез с «генеральной линией», коллективные или частные письма, в которых выражается несогласие с действиями властей, – все это, не про-

никая в официальные источники информации, приобретает в несвободном обществе достаточно шумный отклик. («Но гремит напетое вполголоса, / Но гудит прочитанное шепотом», – писал в 1960-е годы Александр Галич³⁷.)

Борьба за реабилитацию Ю.Г. Оксмана оказалась, как видно, нелегкой и долгой; она требовала решимости и настойчивости его сторонников, их готовности идти на определенный риск. Нет, однако, сомнений: эта борьба «резонировала» с другими – более заметными – протестными акциями 1960-1980-х годов. Образ историка, не желавшего мириться с критериями советской жизни и не прекращавшего будоражить совесть своих современников, все глубже внедрялся в общественное сознание, его личность все более определяла ту самую «шкалу неписанных ценностей», о которой напоминает М.О. Чудакова, а его имя становилось как бы паролем, позволяющим отделить «своих» от «чужих», и, в известной степени, – нравственным мерилom, характеризующим его современников³⁸.

Усилиями М.О. Чудаковой, В.В. Пугачева, Н.Я. Эйдельмана и других ученый-историк превращался в заметную общественную фигуру, значение которой определяется не только его научными достижениями, но и – в первую очередь! – гражданственностью. Не всякий профессиональный историк может рассчитывать на достойное место в отечественной истории. Академических заслуг не достаточно; необходим нравственный авторитет. Именно такой фигурой

и оказался со временем Юлиан Оксман. Его присутствие в научной и общественной жизни продолжалось и в 1970-е, и в 1980-е годы, прежде всего потому, что о нем *говорили* – не только вполголоса, на московских и ленинградских кухнях, но и публично – на страницах малотиражных изданий и в открытых собраниях, пусть даже не слишком людных. Подспудная и скромная работа незримо делала свое дело.

С этой точки зрения, вечер в Музее Маяковского (как и Первый Тыняновский сборник) принадлежит, бесспорно, к заметным событиям в истории духовного противостояния власти и лучших представителей нашей гуманитарной интеллигенции, определявшим общественный климат в советской стране вплоть до окончательного краха Системы.

Уместно напомнить, что описанный выше вечер памяти Оксмана состоялся ровно за полтора месяца до смерти генерального секретаря ЦК КПСС Ю.К. Черненко и прихода к власти М.С. Горбачева. На пороге стояла новая эра.

Но об этом тогда никто не догадывался.

Примечания

¹ Чудакова М. О роли личности в истории России XX века // Житомирская С.В. Просто жизнь. М., 2006. С. 24.

² Там же.

³ Флейшман Л. Из архива Гуверовского института: Письма Ю.Г. Оксмана к Г.П. Струве // Stanford Slavic Studies.

Stanford, 1987. Vol. I. P. 20.

4 Ibid. P. 19.

⁵ «Широкие связи Оксмана с зарубежными литературоведами и его независимый характер привели к 1964 г. к новым репрессиям – обыску, отстранению от работы

в ИМЛИ, исключению из Союза писателей, – сообщает А.В. Блюм, известный историк советской цензуры. – По указанию Главлита наложен запрет на упоминание его имени в научных публикациях и ссылки на его работы» (*Блюм А. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов, 1917–1991: Индекс советской цензуры с комментариями.* СПб., 2003. С. 386).

⁶ См. письма Оксмана к П.Н. Беркову от 12 декабря 1964 г., Б.Я. Бухштабу от 28 декабря 1964 г. и В.И. Малышеву от 13 января 1965 г. («Искренне Ваш Юл. Оксман» (Письма 1914–1970-го годов) / Публ. М.Д. Эльзона; Предисл. В.Д. Рака; Примеч. В.Д. Рака и М.Д. Эльзона // *Русская литература.* 2005. № 4. С. 199, 201; 2006. № 1. С. 227).

⁷ Некролог Г.П. Струве был опубликован в парижской газете «Русская мысль»

(№ 2812 от 15 октября 1970 г.); перепечатан в кн.: *Пугачев В.В., Динес В.А. Историки, избравшие путь Галилея: Статьи, очерки.* Саратов, 1995. С. 65–67.

⁸ Список печатных трудов Ю.Г. Оксмана (к 100-летию со дня рождения) // *Археографический ежегодник за 1995 год.*

М., 1997– с. 327–339.

⁹ Назарова Л.Н. Воспоминания о Пушкинском Доме. СПб., 2004. С. 112.

¹⁰ Богаевская К.П. Из воспоминаний // Новое литературное обозрение. 1996. № 21. С. 128.

¹¹ Пугачев В.В., Динес В. А. Указ. соч. С. 45–46.

¹² Недописанные рассказы <В.М. Гаршина> / Сообщ. и публ. Ю.Г. Оксмана // Литературное наследство. Т. 87: Из истории русской литературы и общественной мысли 1860–1890 гг. М., 1977. С. 159–177.

В этом же томе «Литературного наследства» обращает на себя внимание и другая публикация, формально не принадлежащая Оксману, но восходящая к его собранию и занятиям Гаршиным (Письма <Гаршина> к разным лицам / Публ. К.П. Богаевской и А.П. Оксман; Предисл. и примеч. К.П. Богаевской // Там же. С. 232–239).

¹³ См., например: Быков В. Талант ученого – талант художника // Новый мир. 1985. № 1. С. 248–249; Мильчина В. // Литературное обозрение. 1985. № 12. С. 71–72.

¹⁴ Из переписки Ю.Г. Оксмана / Вступ. статья и примеч. М.О. Чудаковой и Е.А. Тоддеса // Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988 [далее сокращенно: Четвертые Тыняновские чтения]. С. 96–168.

¹⁵ Мариэтта Омаровна сослалась в этом месте на статью

С.Я. Борового «К истории создания Одесского археологического института и его археографического отделения» (Археографический ежегодник за 1978 год. М., 1979. С. 96–101), в которой не раз упоминается о заслугах Оксмана, – исключительный случай в 1963–1988 гг.

¹⁶ Любимое Оксманом изречение Пушкина (из письма Пушкина к А.А. Бестужеву от 30 ноября 1825 г.).

¹⁷ «С Юлианом Григорьевичем я переписывался, он писал необыкновенно интересные и содержательные письма, удивлявшие меня своей смелостью, – рассказывал Каверин в письме к автору этого очерка 26 августа 1985 г., – но, к сожалению, они не сохранились по понятным причинам. <...> Я очень хотел написать об Ю<лиане> Г<ригорьевиче> и его отношениях с Тыняновым, но больше того, что напечатано, сделать не удалось.

С Юлианом Григорьевичем у меня были тесные и сердечные отношения в течение многих лет. Я и моя жена очень любили его, и я надеюсь, что его бесценные услуги истории русской литературы когда-нибудь будут по достоинству оценены» (личный архив К.М. Азадовского).

¹⁸ Более полно заметка И.Б. Роднянской опубликована в кн.: Четвертые Тыняновские чтения. С. 118–119.

¹⁹ Слова эти были произнесены Е.Г. Эткиндо́м, чье имя в начале 1980-х гг. также относилось к числу запретных. Существует и другая версия этой фразы: «Кому и зачем по-

надобилось, чтобы лопасти этой мощной турбины не работали?» (см.: *Пугачев В.В., Динес В.А.* «А все-таки она вертится!» // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли: Межвузовский научный сборник. Вып. 5. Ч. 2: Посвящается памяти Юлиана Григорьевича Оксмана. Саратов, 1989. С. 48).

²⁰ См.: *Богаевская К.П.* Возвращение.

О Юлиане Григорьевиче Оксмани // Литературное обозрение. 1990. № 4. С. 100–112; Ю.Г. Оксман в Саратове (Письма. 1947–1957) / Вступ. заметка, публ. и коммент. К. Богаевской // Вопросы литературы. 1993. Вып. V. С. 231–270; *Богаевская К.П.* Из воспоминаний // Новое литературное обозрение. 1996. № 21.

С. 124–129. Отметим, что К.П. Богаевская публиковала или предоставляла для печати обращенные к ней письма Оксмана (их общее число, по ее словам, составляло около 500) лишь фрагментарно, мотивируя свое решение тем, что «время для полной публикации этих писем еще не пришло» (Вопросы литературы. 1993. Вып. V. С. 234).

²¹ См.: Литературное обозрение. 1990. № 4. С. 107.

²² См. подробно: *Егоров Б.Ф.* Ю.Г. Оксман и Тарту // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 175–193.

²³ В связи с присуждением В.Г. Баскакову за эту книгу докторской степени Оксман – вместе с другими учеными – обращался с открытым письмом к президенту АН СССР.

См. об этом письмо Ю.Г. Оксмана к А.П. Скафтымову от 22 марта 1957 г. (Из переписки А.П. Скафтымова и Ю.Г. Оксмана / Предисл., сост. и подгот. текстов А.А. Жук; Публ. В.В. Прозорова // Александр Павлович Скафтымов в русской литературной науке и культуре: Статьи, публикации, воспоминания, материалы / Отв. ред. В.В. Прозоров. Саратов, 2010. С. 272–273.

²⁴ В.В. Пугачев, со своей стороны, также посвятил этой проблеме ряд статей. Позднее они были собраны воедино и изданы – вместе с трудами Оксмана на ту же тему – отдельной книгой: *Оксман Ю.Г., Пугачев В.В.* Пушкин, декабристы и Чаадаев / Сост., вступ. статья и примеч.

Л.Е. Герасимовой, В.С. Парсамова и В.М. Селезнева. Саратов, 1999 (приложением опубликованы черновые наброски и подготовительные материалы Оксмана к его книге «Пушкин и декабристы», которая так и осталась незавершенной).

²⁵ О споре вокруг десятой главы «Евгения Онегина» и позиции Оксмана (а вслед за ним и В.В. Пугачева) относительно этой проблемы см.: *Пугачев В.В., Динес В.А.* Историки, избравшие путь Галилея... С. 23–29; *Динес В., Парсамов В., Гаркавенко О.* К 75-летию профессора Владимира Владимировича Пугачева. Саратов, 1998. С. 53–59.

²⁶ Никаких документальных свидетельств, подтверждающих этот факт, до настоящего времени не обнаружено.

²⁷ Юрий Николаевич Коротков (1924–1989) – во второй половине 1960-х гг. сотрудник издательства «Молодая гвардия», редактор серии «Жизнь замечательных людей» и главный редактор первых семи томов историко-биографического альманаха «Прометей» (в 1966–1988 гг. было выпущено 15 томов; начиная с восьмого тома редактором значится С.Н. Семанов). Позднее работал в исторической редакции издательства «Советская энциклопедия».

²⁸ Дмитрий Дмитриевич Благой (1983–1984) – историк литературы, автор многочисленных работ по русской литературе XVIII–XX вв. Действительный член Академии педагогических наук РСФСР. Неоднократно подвергался (в частных беседах и разговорах) язвительным нападкам Оксмана.

²⁹ Оксман имел в виду кн.: *Благой Д.Д.* История русской литературы XVIII века.

М., 1945. Предназначенный для советских университетов и педагогических институтов, этот учебник в 1950–1960-е гг. переиздавался четыре раза.

³⁰ Многострадальную историю своей работы над «Письмом...», в которую он вложил «много и труда, и вдохновения», Оксман кратко изложил в письме к К.И. Чуковскому от 26 ноября 1952 г. (см.: Ю.Г. Оксман – К.И. Чуковский: Переписка, 1949–1969 / Предисл. и коммент. А.Л. Гришунина. М., 2001. С. 38–40).

³¹ Эта точка зрения была высказана Оксманом в коммен-

тарии к публикации (им же осуществленной) письма А.А. Краевского и В.Ф. Одоевского к Пушкину (август 1836 г.) в кн.: Литературное наследство. Т. 58: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1952. С. 289–296.

³² Сомнение в правильности этой гипотезы см.: *Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И.* «Сквозь умственные плотины»: Из истории книги и прессы пушкинской поры. М., 1972. С. 312 (2-е, доп. изд.: М., 1986. С. 373). Первое издание вышло уже после смерти Оксмана, однако точка зрения авторов на данный вопрос была ему известна из личных бесед. Аргументированное опровержение оксмановской позиции см. в статье: *Турьян М.А.* Из истории взаимоотношений Пушкина и В.Ф. Одоевского // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1983. Т. XI. С. 174–183.

³³ Из писем от 18 сентября 1943 г., 6 декабря 1944 г., 20 мая 1945 г. и 16 июня 1945 г.

³⁴ Цит. по: Четвертые Тыняновские чтения. С. 163–164.

³⁵ Оба документа в настоящее время опубликованы. См.: Ю.Г. Оксман – К.И. Чуковский: Переписка, 1949–1969. С. 145–146, 148–149 (текст К.И. Чуковского публикуется по черновому автографу, без даты).

³⁶ Четвертые Тыняновские чтения. С. 116.

³⁷ Из стихотворения «Мы не хуже Горация».

³⁸ К сожалению, споры вокруг личности Оксмана разгораются и в наши дни.

В 2003 г., предваряя обширную, растянувшуюся на несколько лет публикацию писем Оксмана в журнале «Русская литература» полемическим (по отношению к другим авторам, публиковавшим письма Оксмана и писавшим о нем) предисловием, В.Д. Рак, научный сотрудник Отдела пушкиноведения и руководитель Текстологической комиссии Пушкинского Дома, сетовал по поводу обнародования *полных* текстов писем Оксмана, которые, по мнению современного пушкиниста, заводят читателя «на коммунальную кухню советского литературоведения», а потому их «следовало бы предать гласности и подвергнуть оценке много позднее, дождавшись времени, когда уйдут из жизни поколения, для которых его <Оксман> образ наполнен острым публицистическим содержанием и которые готовы либо видеть происходившее на этой кухне его глазами, либо вступать с ним в ожесточенный спор...» (Русская литература. 2003. № 3. С. 139). Не желая углублять бесцельную дискуссию, ограничусь пассажами из статьи В.М. Селезнева, опровергающего этот – якобы объективный – взгляд на Оксмана: «...Оксман никогда не считал свое мнение истиной в последней инстанции <...> Но он никогда не боялся прямо называть холуев – холуями, клеветников – клеветниками, душителю свободы – душителями свободы. В любое время, в любой аудитории. За что и получил сполна от литературных охранников коммунистической догматики. И от нынешних комментаторов из „Русской литературы“.

Юлиан Григорьевич не может ответить своим новоявленным хулителям. Но за него отвечают его классические труды о Пушкине, декабристах, Белинском, Тургеневе <... > его биография едва ли не первого диссидента нашего времени...» (*Селезнев В.* «Заводит читателей на коммунальную кухню советского литературоведения» (Рак против Оксмана) // Вопросы литературы. 2005. Январь-февраль. С. 314).

Николай Богомолов. К вопросу о литературных источниках песни А. Галича «Ошибка»

Эта песня не раз обсуждалась в критике, в том числе и с той точки зрения, которая заявлена в заглавии нашей статьи. Самая серьезная, конечно, статья написана А.Н. Костроминым¹. В ней убедительно показано, что смысл знаменитой песни далеко не сводится к тому, что сам автор рассказывал о ней перед исполнением². Уловленные предыдущими критиками ошибки – хронологические, лексические, географические – убедительно объяснены тем, что Галичу нужны были не конкретные, достоверные факты, а поэтическое обобщение: «.. текст описывает событие, которое могло быть под Нарвой или *где-то* – когда угодно. В любой исторический период России. При любой власти» (163).

А как же быть с подробнейшим рассказом Галича? Ведь в нем называются даты (которые на самом деле фиктивны), имена (которые не могли в этом контексте быть упомянуты), факты (которые легко опровергнуть). Зачем он был нужен автору?

Конечно, ответить на этот и ряд других вопросов с полной и абсолютной уверенностью вряд ли возможно. Но постараться понять внутреннюю логику стихотворения (а в даль-

нейшем мы будем говорить лишь о словесной структуре произведения), как нам кажется, возможно. Но сначала одно наблюдение вроде бы пустяковое, но на деле существенное. А.Н. Костромин задается вопросом: «Есть в тексте самой „Ошибки“ строчка, вызывающая множество мнений и трактовок, – а о чем, собственно, Галич пишет?

Вот мы и встали *в крестах* да в нашивках...

Нашивки – понятно, за ранения, например. А что за кресты у „померзших ребят“? Ношение нательных крестов военнослужащими вроде бы не приветствовалось политработниками всех уровней. Кресты – награды и воинские знаки – были как раз у врага. И на могилах павших – большей частью ставились не кресты, а деревянные пирамидки с жестяной звездой...» (159). Прямого ответа в статье мы не находим, но он подразумевается: кресты являются символами, говорят о вневременности, вечности происходившего и происходящего. С таким объяснением можно согласиться, но есть и еще одно. Издавна об отчаянно смелом человеке говорили: «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Вот эти кресты давнего времени и современные сорок третьему году нашивки за ранения, соединяясь, создают высокое напряжение образа. Может быть, даже слишком высокое, поскольку опущенные связующие звенья делают картину не до конца определенной и заставляют прямо говорить о произволь-

ной ошибке автора.

Однако возвратимся к основному смыслу, заложенному автором в произведение. На наш взгляд, стихотворение-песня Галича должно быть рассмотрено прежде всего с точки зрения его вписанности в современную историю и литературу. И здесь на первый план, естественно, выдвигается последний год, когда Н.С. Хрущев стоял во главе страны. Конечно, вряд ли кто-нибудь в феврале, когда писалась «Ошибка», мог предсказать события октября, но было совершенно очевидно, что борьба вокруг личности и дела Сталина все более и более обостряется. С одной стороны, консолидировались его ожесточенные сторонники, стремившиеся всеми доступными им средствами обелить «вождя и учителя». Но и в официальной печати обозначилось явное похолодание, «Октябрь» явно стремился к ресталинизации, «Литературная газета», не говоря уж о «Правде» и даже относительно либеральных «Известиях», тоже не склонна была поддерживать решения XXII съезда, связанные с освобождением от этого имени. 19 февраля 1964 года А.Т. Твардовский записывал в дневнике: «Главный мотив <плenums ЦК> – культ личности. Можно считать, что это третий вал (после 20 и 22 [съездов]). Жизнь вновь и вновь заставляет допахивать эту трудную целину»³. И его журнал, читаемый и почитаемый в тех кругах, к которым принадлежал Галич, достойно исполнял эту задачу. Только что, в первом номере «Нового мира» появилась знаменитая статья В. Лакшина «Иван Денисович,

его друзья и недруги», еще раз напомнившая читателям о великой повести, все более актуализирующейся в контексте современных споров. В том же первом номере печатаются будущие соратники Галича (при всех разногласиях и несовпадениях позиций) по делу диссидентства – А. Кузнецов, А. Синявский и Ф. Светов, рецензируется книга стихов еще одного наверняка ему хорошо известного автора – Н. Коржавина.

Как нам кажется, именно с этим связан комментарий Галича, втягивающий в смысловое поле песни имя Сталина и его жутковатой роли в военных событиях. Но и Хрущев, если вслушаться в комментарий, также не выводится из-под удара, он оказывается явным продолжателем дела Сталина. История бессмысленной героической гибели оказывается опошлена и предана царской охотой на костях погибших.

Политический комментарий не раскрывает смысла самой песни, а вводит ее в контекст, основательно забытый уже через десять лет⁴.

Этот смысл, в самых общих чертах верно понятый исследователем, тоже, как нам кажется, нуждается в уточнении.

Для поэзии (в том числе, конечно, и песенной) Галича характерна насыщенность литературными аллюзиями и параллелями. В случае с «Ошибкой» одну из таких аллюзий указал А.В. Кулагин – стихотворение убитого на войне Николая Майорова «Нам не дано спокойно сгнить в могиле...», напечатанное в пятом номере журнала «Новый мир» за 1963

год⁵. Однако нам представляется, что и оно, и другие названные исследователем стихотворения⁶ далеко не исчерпывают вопрос. Мы, со своей стороны, хотели бы напомнить о значительно более известном стихотворении, которое, как нам представляется, в наибольшей мере проецируется на структуру и смысл песни Галича. Речь идет о стихотворении Б. Слуцкого «Памятник»:

Дивизия лезла на гребень горы
По мерзлому,
мертвому,
мокрому камню,
Но вышло,
что та высота высока мне.
И пал я тогда. И затих до поры.

Солдаты сыскали мой прах по весне,
Сказали, что снова я родине нужен,
Что славное дело,
почетная служба,
Большая задача поручена мне.

— Да я уже с пылью подножной смешался!
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! —
Я встал и поднялся.
И скульптор размеры на камень нанес.

Гримасу лица, искаженного криком,
Расправил, разгладил резцом ножевым.
Я умер простым, а поднялся великим.
И стал я гранитным,
а был я живым.

Расту из хребта,
как вершина хребта.
И выше вершин
над землей вырастаю.
И ниже меня остается крутая,
не взятая мною в бою
высота.

Здесь скалы
от имени камня стоят.
Здесь сокол
от имени неба летает.
Но выше поставлен пехотный солдат,
Который Советский Союз представляет.

От имени родины здесь я стою
И кутаю тучей ушанку свою!

Отсюда мне ясные дали видны —
Просторы
освобожденной страны,
Где графские земли
вручал

батракам я,
Где тюрьмы раскрыл,
где голодных кормил,
Где в скалах не сыщется
малого камня,
Которого б кровью своей не кропил.
Стою над землей
как пример и маяк.
И в этом
посмертная
служба
моя⁷.

Об этом стихотворении авторы наиболее тщательной на данный момент книги о жизни и творчестве Слуцкого пишут: «Начинается книга стихотворением „Памятник“, единственным стихотворением, опубликованным поэтом после войны и после смерти Сталина – 15 августа 1953 года. Впечатление, которое произвело первое опубликованное Слуцким стихотворение, было огромным. Оно потрясло любителей поэзии: об этом вспоминают почти все, кто пишет о Слуцком. Иосиф Бродский говорил, что „Памятник“ Слуцкого толкнул его к стихописанию»⁸. К тому же, как видно из нашей сноски, стихотворение открывает первую книгу стихов Слуцкого, моментально сделавшуюся широко известной. Трудно поверить, что Галич не читал «Памятник» в газете, в этой книге или какой-либо другой – всегда он был на

заметном месте⁹.

На первый взгляд, прямых словесных параллелей между «Ошибкой» и «Памятником» не так много, чтобы можно было говорить о заведомом расчете. Прежде всего, это обращение к похороненному солдату у Слуцкого: «Вставай, поднимайся!», где совершенно очевиден источник: знаменитая песня на мелодию «Марсельезы», сложенная П.Л. Лавровым (с небольшой фонетической коррекцией – «поднимайся» вместо «подымайся»). Так, может быть, и галичевское: «Что ж, подымайтесь, такие-сякие» заимствовано из того же источника? Трудно в это поверить хотя бы потому, что во всех других случаях цитаты «из официальных источников» Галич переиначивает – контекстуально или интонационно. Вспомним хотя бы, почти навскидку: «Я другой такой страны не знаю» и «Нас не трогай – мы не тронем» в «Без названия», советский гимн в «Канарейке», «Кантату о Сталине» в «Плясовой», «Взвейтесь кострами...» в «Балладе о чистых руках». Здесь же никакой иронии, а тем более издевательства услышать невозможно, все звучит предельно серьезно. И это вполне возможно, если текст опосредован, прошел через другие руки – в данном случае Слуцкого. И уж совсем отсутствует у Лаврова совпадение, очевидное у Галича и Слуцкого: «Я встал и поднялся» – «Вот мы и встали...» К словесным параллелям также относятся «мерзлый, мертвый камень» у Слуцкого – и «померзшие ребята», «если зовет своих мертвых Россия» у Галича. В обоих стихотворениях речь

идет о пехоте, пехотинцах. Укажем также, что в стихотворении Галича, как и у Слуцкого, присутствует диалог мертвых солдат и некоей высшей силы. В «Памятнике» это формально слова солдат, отыскивающих прах погибшего, но упомянутая выше ассоциация с «Рабочей Марсельезой» достаточно откровенно показывает, что тут имеются в виду какие-то гораздо более значимые силы. В «Ошибке» третья строфа, начинающаяся «Что ж, подымайтесь, такие-сякие» формально выглядит как убеждение самих себя, «померзших ребят», но, по сути, тоже является репликой в диалоге. Подобная организация текста чужда стихотворению Н. Майорова, что и заставляет нас с некоторым скептицизмом отнести к предположению А.В. Кулагина.

Но, кажется, существеннее чисто словесных переключек – схождения и сущностные отталкивания на содержательном уровне. Попробуем их определить.

Прежде всего, это система субъектной организации стихотворений. У Слуцкого она такова: в центре стоит «я» – погибший солдат. Само личное местоимение употреблено восемь раз, вдобавок к этому – «мне», «мой» и пр. А с другой стороны, его дополняет внеличное, определяющее как судьбу при жизни («дивизия», вместе с которой еще живой солдат лезет в гору), так и после нее: «солдаты», «скульптор», «батраки», «голодные» и пр. У Галича на первый план выдвинуто «мы», с которого и начинается стихотворение и которое еще несколько раз настойчиво повторяется в тексте и

которому противопоставлена безличная «охота» с егерями. Никакого «я» в тексте нет, но «мы» включает это «я» вполне отчетливо. Таким образом, при общем сходстве членения на свое или интимно близкое («я» и Слуцкого, «мы» у Галича) и внеположное, есть и отчетливое различие.

Вторая особенность – Слуцкий регулярно употребляет слова, освященные традицией национальной и сугубо большевистской риторики: «родина» (дважды), «почетная служба» (и как вариант «посмертная служба»), «батраки», «голодные» и, конечно, – Советский Союз. При этом ничего точно не названо – безымянна гора, безымянна страна, о которой мы только и знаем, что она «освобожденная», и в ней «графские земли», нет никаких временных примет (если не считать, что освобождение чужой страны явно относится к 1944 или 1945 году). У Галича риторики нет, разве что она откликается ее наглядным отрицанием: «подымайтесь, такие-сякие», «мы – ни к чему», «полегла пехота... без толку, зазря»¹⁰, зато приметы места и времени весьма точные: пехота гибнет под Нарвой в 1943 году, а охота гуляет в общей для автора и его слушателей современности. Может быть, самое существенное – что названному у Слуцкого Советскому Союзу у Галича соответствует Россия, то есть понятие гораздо более древнее и вечное, чем временная аббревиатура. Таким образом, Галич, несомненно, куда «радикальнее» Слуцкого, стремящегося сохранить равновесие трагического и патетического (иногда даже излишне).

Конечно, мы отдаем себе отчет, что в 1953 году «Памятник» выглядел новаторским стихотворением. Уже были хорошо забыты чудом просочившиеся в печать стихотворение «Перед атакой» Семена Гудзенко (опубликованное впервые еще в 1943 году) или сборник Сергея Орлова «Третья скорость» (1946) со своим ничем не выдающимся «Памятником» («Его зарыли в шар земной...»), но с целым рядом пронзительно трагических стихов. Слуцкий, соединив официальную риторику и непривычную жесткость, если не жестокость, создал впечатляющее стихотворение – но впечатляющее для своего времени. Десять лет спустя, в начале 1960-х, в его поэтических достоинствах можно было сомневаться, и Галич, на наш взгляд, усомнился.

Меж тем у этих авторов было на первый взгляд гораздо больше оснований для того, чтобы объединиться в утверждении неких общих принципов существования в Советском Союзе 1950-1960-х годов. Слуцкий был одним из первых, кто ввел в официальную, то есть проходящую цензуру и печатающуюся в журналах и газетах современную поэзию, неканонический взгляд на события как войны, так и послевоенного времени. Его стихи были насыщены прозаизмами, картинками вовсе непоэтического, скудного и общеизвестного быта тех лет. Он во многом шел от тех же источников в русской поэзии XX века, что и Галич. А в стихах не печатавшихся, расходившихся в самиздате, еще как следует не сформировавшемся, он прикасался к ранам своей отчизны

еще более отважно. И не случайно имена Галича и Слуцкого так часто сопрягаются в самых разных контекстах и самыми разными авторами. Известный «патриот» О. Платонов формулировал это так:

Во второй половине 60-70-х годов вокруг Окуджавы, Галича, Слуцкого, Эйдельмана, Коржавина существовали кружки еврейско-космополитической интеллигенции, вызывавшие во мне отвращение не только из-за их растленно-антирусского духа, но и из-за смехотворных претензий на «элитарность» и «первенствующее положение» в русской культуре <...> Особенно неприятные чувства во мне вызывали Н. Эйдельман и С. Рассадин с их самоуверенными и, по сути дела, невежественными рассуждениями о русской истории. <...> Рассадин хвалил Эйдельмана, тот его, а все вместе пели дифирамбы Окуджаве, Галичу, Слуцкому и другим еврейским «гениям». <...> Почти физически я ощущал их убогий, одномерный мир безбожников, антипатриотов, пошляков, заикленных на своих племенных переживаниях и чаяниях, ненавидящих все русское и глумящихся над историей России¹¹.

А вот слова человека с совсем другого берега: «Вот что следует отметить особо: некоторые стихотворения Слуцкого, в силу своей еретической направленности никак не могшие попасть в печать, очень рано (думаю, одновременно с

песнями Галича) стали распространяться в списках»¹². В книге Р. Тамариной главки о Слуцком и Галиче следуют друг за другом, что явно заставляет совмещать представление о них в сознании автора¹³. Впрямую сопоставляет (чтобы тут же противопоставить) двух поэтов Валерий Шубинский: «Из всех вариантов поведения – уйти в фиктивный мир наспех усвоенной культуры (как один из его друзей – Давид Самойлов) или занять позу обличителя (как другой сверстник – Александр Галич) – Слуцкий выбрал самый безумный – самоидентификацию и с убитыми, и с убийцами»¹⁴.

Но на самом деле об их прямых контактах нам известно очень мало. Однажды, в 1977 году, Галич в радиопередаче процитировал две строки Слуцкого¹⁵. В вызывающих мало доверия воспоминаниях И. Глазунова говорится: «А портрет мой стоил 100 рублей. Кстати, Александр Галич, к которому меня тогда водил Слуцкий, не заплатил мне за портрет своей жены»¹⁶. Вряд ли они могли не пересекаться в гостях у А. и Г. Аграновских, с которыми близко дружили¹⁷. Но нам кажется резонным полагать, что между ними существовала если не открытая неприязнь, то некоторый холодок. Так, авторы книги, на которую мы уже не раз ссылались (один из них – близкий друг Слуцкого), писали: «Войну против фашизма Слуцкий, как и большинство его сверстников, считал не только главным делом поколения, но и персональным долгом каждого. В оценке человека, близкого к призывному

возрасту, для Слуцкого много значило, был ли этот человек на фронте. К тем, кто отсиживался в плену и без кого тыл мог бы обойтись, относился с подчеркнутым неодобрением <... > Нередко этот взгляд на людей не воевавших доходил до крайности»¹⁸. Тем самым он должен был с неприязнью относиться и к Галичу, который на фронте не был. Особенно могло обостриться такое отношение, если Слуцкий знал «Левый марш» (или «Марш штрафников»), написанный, согласно разысканиям А. Крылова, до «Ошибки» и исполнявшийся в доме Аграновских¹⁹. Эта сравнительно мало известная песня впрямую не касается военных событий, но в то же время в ней судьбы героев (детей репрессированных родителей, попадавших в детдома²⁰) постоянно уподобляются войне, бою, штрафбатам, рукопашной, военному быту, тем самым в какой-то мере делаясь свидетельством и о войне.

Вообще следует отметить, что первые песни Галича до известной степени касались тех же тем, что и стихи Слуцкого, в том числе запретные²¹. В них выделяется тема лагеря и тем самым всей сталинской эпохи («Облака», «Закливание»)²² и судеб еврейства в России («Острова», «Предостережение»). Констатируем также связь «Физиков и лириков» Слуцкого, написанных в 1960 году²³, с более поздними «Жутким столетием» и «Я принимаю участие в научном споре...» Галича, в последнем из которых есть прямая отсылка если не к стихотворению Слуцкого, то к связанной с ним

общественной дискуссии. Даже приметы времени нередко оказываются в них одними и теми же: больница, куда попадают воевавшие («Засуха» Слуцкого и «Больничная цыганочка» Галича), вдова погибшего («Память» и «Веселый разговор»), мальчишки военного времени («Мальчишки» и «Левый марш»), советские газеты («Газеты» и «Уходят друзья»), бог в пяти машинах и колонна с царственным наследником и его охраной из КГБ («Бог» и «Леночка»). Даже отдельным особенностям стиха находятся параллели. Так, в одной из статей о Слуцком читаем: «Приведу в качестве примера стихотворение «Как отдыхает разведчик» (стоит, кстати, попутно обратить внимание на очень характерный для Слуцкого тип заглавия: сказано деловито, просто, кратко, как в инструкции или справке; эта деловитая точность очень важна для автора, и его несколько не смущает повторение одной и той же формулы: «Как меня не приняли на работу», «Как растаскивается пробка», «Как сделать революцию», «Как убивали мою бабушку», «Как я снова начал писать стихи» и тому подобное)»²⁴. Но ведь и для поэтики Галича такой тип названий очень характерен, только с добавлением: «Право на отдых, или Баллада о том, как я навещал своего брата...», «Вальс его величества, или Размышления о том, как пить на троих», «Баллада о том, как одна принцесса...», «Баллада о том, как едва не сошел с ума...», «История одной любви, или Как все это было на самом деле», названия отдельных песен из знаменитого цикла про Клим Петровича.

Но нельзя не отметить и принципиальных расхождений. Прежде всего это относится к самому типу поэтики. При общем внимании к бытовому и просторечному слову, жизни обычных людей, внешне непримечательным событиям Галич и Слуцкий решительно расходятся в их употреблении. Галич значительно более резок, в его стихи свободно входит блатной жаргон, полупристойные, а то и вовсе «непристойные» слова и выражения, и в то же время советская риторика в любом изводе для него решительно неприемлема, и если попадает в стихи, то исключительно в компрометирующем контексте. Даже КГБ и ЦК КПСС подвергнуты осмеянию или бытовому снижению (и в «Леночке», и в «Тонечке») – что уж говорить про райком и товарища Грошеву в «Красном треугольнике» или безымянного начальничка, этим своим уменьшительным именованием сразу попадающим в ряд, начатый знаменитым «начальничек, ключик-чайничек» из блатной песни «Течет речка да по песочку...». Напротив, Слуцкий регулярно пытается вернуть словам из советского лексикона их подразумеваемый высокий смысл. «Солдат Страны Советской», партком и партийцы, трибунал и политотдел, Ленин и политработник, Белояннис, «и та Россия этой нравится / Своей высокой красотой», «сторонники голодных и рабов»²⁵ и так далее, и так далее. В стихах и песнях Галича представить такое невозможно, разве что в самых ранних, «доисторических»: «Комсомольский сводный батальон».

И в сюжетах Галич значительно радикальнее. Где у Слуцкого – простые мальчишки из ремесленного училища, получившие к тому же возможность отдохнуть, там у Галича почти те же мальчишки по-волчьи рвут друг другу горло и ломают ребра; газеты пишут не о светлом будущем, а об уходящих в небытие бывших друзьях, вдовы не проживают достойную светлую жизнь, а оказываются в той же грязи и мерзости, где только и свету в окошке, что единственная дочка, да и ту уводит один из виновников ее бед, – и так можно продолжать до бесконечности.

Но один из самых важных моментов, который, конечно, не мог не воздействовать на их отношения, – знаменитые строки из песни «Памяти Б.Л. Пастернака»: «Мы – поименно! – вспомним всех, / Кто поднял руку!» Вряд ли Слуцкий, бесконечно винивший себя за выступление на собрании, где осуждали Пастернака, мог равнодушно воспринимать это прямое обвинение в свой адрес, тем более что по логике вещей у него было что ответить: Галич не был на этом собрании не в знак протеста, а из-за болезни. По обычной логике, не поэтической (а в подобных случаях, кажется, обычная действует сильнее), он мог бы бросить такой упрек только в том случае, если бы сам голосовал против. Слуцкий и Галич, в чем-то очень близкие, все более и более отворачивались друг от друга.

Но, отворачиваясь, все-таки продолжали друг друга видеть. Об этом свидетельствует, как нам кажется, одно стихо-

творение Слуцкого. Впервые оно появилось в печати в середине 1971 года²⁶, но особой популярностью не пользовалось. Автор перепечатал его только раз, и больше в прижизненные книги оно не входило. Его название упомянуто выше – «Как отдыхает разведчик».

Вот он вернулся с задания.
Вот он проспал, сколько смог,
вытянув вдоль мироздания
пару исхоженных ног.

Вот расстелил плащ-палатку.
Вот подстригает усы.
О, до чего же вы сладки,
тихие эти часы.

Солнце еще в зените.
Долго еще до темна.
Жаворонки, звените,
Не замирай, струна!

Вы, трофейные часики,
тикайте на руке!
Изображайте, классики,
эту жизнь налегке!

Изображайте, гении,
если вам по плечу:

до следующего задания
полсуток ему еще²⁷.

С нашей точки зрения, это прямая реплика на вставную «новеллу» из «Баллады о Вечном огне» Галича, которая была закончена 31 декабря 1968 года и тут же довольно широко начала исполняться. Напомним, что в этой части, резко выделенной ритмически и мелодически, речь идет о двух разведчиках-«урочках», отправившихся брать «языка». Но вместе с этим у них «затикали в подсумочке / Трофейные часы», а после этого начался и буйный отдых («мы пьем-гуляем в Познани»), в результате чего один из них оказался арестован и расстрелян.

Внешние приметы во многом совпадают: отдых, трофейные часы, ухоженные усы (и даже рифма «усы – часы», – правда, часы тут другие). К тому же Слуцкий словно подкрашивает эту картину намеками на другие тексты Галича: «... проспал <...> вытянув вдоль мироздания / пару исхоженных ног» очень напоминает подвыпившего пролетария из «Вальса его величества», который «спит, а над ним планеты – / Немеркнувший звездный тир», да и завершение его: «Не трожьте его! / Не надо! / Пускай человек поспит!» Непонятно откуда взявшаяся неумолкающая струна у Слуцкого (в 12-й строке) без труда может быть возведена к «Черновику эпитафии»: «И мучительна, и странна / Все одна дребезжит струна». «Солнце еще в зените» откликается галичевскому

сравнению: «И казалось мне, что вздор этот вечен, / Неподвижен, точно солнце в зените» («Баллада о стариках и старухах...»). Начало стихотворения (из первых восьми строк четыре начинаются с «вот») также имеет параллели в текстах Галича: «Вот пришли и ко мне седины...», «Вот он скачет, рыцарь удалой...»

Одним словом, нам кажется, что как в свое время Галич «переписывал» Слуцкого, так теперь Слуцкий «переписал» Галича. Конечно, общий смысл «Баллады о Вечном огне» в его стихотворении не отразился, однако вставной эпизод о разведчике оказался переосмыслен приблизительно так: да, вне своего основного военного дела он может показаться «живущим налегке», но помните, что вот-вот начнется следующее задание, и все изменится²⁸.

Примечания

¹ *Костромин А.Н.* «Ошибка» Галича: ошибки сегодняшние и вневременные // Галич: Проблемы поэтики и текстологии. М., 2001. С. 148–165. Далее ссылки на эту работу даются в тексте статьи с указанием страницы в скобках.

² Комментарий, переданный по радио «Свобода» в 1974 г., см.: *Галич А.* Я выбираю свободу. М., 1993 (= Глагол. № 3). С. 92–94. Фрагментарно: *Галич А.* Облака плывут, облака. М., 1999. С. 70–72. Далее стихи Галича цитируются по этому изданию.

³ Твардовский А. Новомирский дневник. М., 2009. Т. 1. С. 226.

⁴ Напомним, что он был сделан 12 октября 1974 г., то есть практически к 10-летию Пленума ЦК КПСС, на котором был снят Хрущев (состоялся 14 октября 1964 г.).

⁵ См.: Кулагин А.В. О литературном источнике песни «Ошибка» // Галич: Новые статьи и материалы. М., 2009. Вып. 3. С. 248–259.

⁶ Это «Песня о солдате» самого Галича – официальная, написанная для популярного кинофильма, и «Людмила» В.А. Жуковского. Вдобавок отметим, что строка «Вновь трубы трубят», видимо, отсылает к началу самой популярной официальной песни на слова Галича: «Протрубили трубачи тревогу».

⁷ Слуцкий Б. Память: Книга стихов. М., 1957. С. 7–9.

⁸ Горелик П., Елисеев Н. По течению и против течения... Борис Слуцкий: Жизнь и творчество. М., 2009. С. 191.

⁹ Так, во второй книге Слуцкого («Время») «Памятник» включает второй раздел книги, «Тысяча девятьсот сорок пятый».

¹⁰ О том, что эти слова вызывали особый гнев официальных начальственных лиц, см.: Галич А. Я выбираю свободу. С. 93–945 Медников А. Без ретуши // Кольцо А. М., 2007. Т. 43. С. 139. Галич приписывает особенно резкую реакцию

Н.В. Лесючевскому, Медников – В.Н. Ильину.

¹¹ *Платонов О.* Русское сопротивление на войне с антихристом: Из воспоминаний и дневников. М., 2010. С. 69. См. также: <http://rusk.ru/st.php?idar=ii0550>.

¹² *Копелиович М.* Российские (советские) поэты: Кое-что из моего чемодана (Продолжение): Он говорил от имени России (Борис Слуцкий) // <http://www.sunround.com/club/soreb.html>. В одноименной статье (Новый мир. 1994. № и) этого пассажа нет.

¹³ См.: *Тамарина Р.* Щепкой – в потоке: Документальная повесть, стихи, поэма. Алма-Ата, 1991. С. 251–268.

¹⁴ *Шубинский В.* Семейный альбом: Заметки о советской поэзии классического периода // Октябрь. 2000. № 8. С. 168.

¹⁵ См.: *Галич А.* Я выбираю свободу. С. 153.

¹⁶ http://www.claudi.ru/obz/Cimkportret_ily_glazunov_u.html. Недоверие наше вызвано тем, что в 1976 г. Галич подписал направленное против Глазунова письмо «Немного о политическом вояжерстве» (*Галич А.* Я выбираю свободу. С. 196–198).

¹⁷ См.: *Аграновская Г.* Пристрастность: Воспоминания. М., 2003.

¹⁸ *Горелик П., Елисеев Н.* Указ. соч. С. 76–77*

¹⁹ *Крылов А.Е.* О проблемах датировки авторских песен: На примере творчества Александра Галича// Галич: Проблема-

мы поэтики и текстологии. М., 2001. С. 190–192. Приносим благодарность А.Е. Крылову за разнообразную помощь в работе.

²⁰ О фактическом субстрате песни см. первую часть воспоминаний человека, которому она посвящена: *Метальников Б. Я расскажу вам...: Воспоминания.* М., 2006.

²¹ Весьма убедительную параллель между «Ночным дозором» Галича и «Славой» Слуцкого привел А.Е. Крылов (*Крылов А.Е. О двух «окуджавских» песнях Галича // Галич: Новые статьи и материалы.* М., 2009. С. 291–292).

²² Прямые аналоги запретным «сталинским» стихам Слуцкого у Галича появляются позже: «Вальс, посвященный Уставу караульной службы» (который, что немаловажно отметить, представлял героя песни воевавшим), написанный зимой 1965/66 г., и в особенности писавшаяся с 1966 г. поэма в песнях «Размышления о бегунах на длинные дистанции».

²³ Подробнее об этом ультрапопулярном стихотворении и его общественном контексте см.: *Горелик П., Елисеев Н.* Указ. соч. С. 294–296.

²⁴ *Лазарев Л.* «Моя война еще стреляет рядом»: О Борисе Слуцком и его поэзии // *Лехаим.* 2001. № 5 (109) (<http://www.lechaim.ru/ARCHIV/109/lazarev.htm>).

²⁵ Все примеры формул и словоупотребления Слуцкого – из книги «Память». Может быть, не будет лишним напом-

нить, что Никое Белояннис (1915–1952) – греческий коммунист, расстрелянный по обвинению в шпионаже в пользу СССР, а «голодных и рабов» – прямая отсылка ко второй строке партийного гимна «Интернационал». Среди более поздних стихов Слуцкого есть, к примеру, «Агитация среди войск противника» и «Ленинские нормы демократии».

²⁶ Смена. 1971. № 21. С. у. Оно вошло в довольно большую подборку стихов, которые, видимо, можно отнести к числу написанных совсем недавно. Аналогичные подборки поэт любил называть «Стихи этого года» или каким-либо схожим образом.

²⁷ *Слуцкий Б.* Доброта дня. М., 1973. С. но.

²⁸ Обратим внимание, как Слуцкий в последней строфе уходит от почти классически точных рифм. В цитированной выше статье Л.И. Лазарев писал, что поэт вообще отказывается от рифмовки, однако на самом деле здесь появляется редкая в русской поэзии консонансная рифма, сначала явно ощутимая («гении – задания»), а затем удерживающаяся на крайнем пределе созвучности («плечу – полсутки... еще»). Здесь перед нами удачный образец почти иконического рифмования: стремительный отказ от точности соответствует столь же стремительному приближению к грани жизни и смерти.

**Алина Бодрова. «Духи
высшие, не я...»**

**К истории текста стихотворения
Е.А. Баратынского «Недоносок»**

Стихотворение Баратынского «Недоносок» впервые увидело свет на страницах апрельской книжки «Московского наблюдателя»¹, где довольно существенно пострадало как от вмешательства цензуры, так и от типографского недосмотра. В журнальной публикации недоставало последних двух строк – о тягости бессмысленной вечности, а также четырех стихов в VI строфе, которая осталась явно неполной: «Смутно слышу я порой... / Плач недужного младенца... / Слезы льются из очей; / Жаль земного поселенца!»².

Когда Баратынский, спустя почти семь лет, стал готовить к печати свой третий поэтический сборник «Сумерки», он внес в текст начальной редакции ряд изменений и поправок, которые не сводились, однако, только к восстановлению пропущенных строк. Самым значительным отличием поздней редакции, уже на стадии подготовки цензурной рукописи³, было изъятие второй строфы, напечатанной в «Московском наблюдателе»:

Весел я небес красой,
Но слепец я. В разуменье
Мне завистливой судьбой
Не дано их провиденье!
Духи высшие, не я,
Постигают тайны мира:
Мне лишь чувство бытия
Средь пустых полей эфира.

Такое авторское решение заставляет пристальнее взглянуть на это восьмистишие – прежде всего «изнутри» текста ранней редакции, что позволяет яснее увидеть его место в образной структуре стихотворения и развитии лирического сюжета.

Нетрудно заметить, что в этих строках, с одной стороны, повторяются уже известные характеристики центрального персонажа, данные в первой строфе, а с другой – концентрируется ряд мотивов, которые затем получают огласовку в последующих восьмистишиях. Начальная строка «*Весел я небес красой*» кажется смысловым дублетом зачина следующей строфы: «Солнце блещет —*радость* мне / <...>/ И *веселыми* крылами». Слепота героя («Но *слепец* я») коррелирует с невозможностью увидеть мир земли, о чем говорится в V и VIII строфах: «Оглянуса ли на землю – / Грозно, черно тут и там...», «Мир я *вижу* как во мгле». Горькие слова о единственно доступном чувстве бытия «*среди пустых полей эфира*» напоминают о тягостном просторе вечности в окон-

чательной редакции «Недоноска» («В тягость роскошь мне твоя, / *В тягость твой простор, о вечность!*»). Характеристика «Духи высшие, не я» в какой-то мере дублирует зачин стихотворения: «Я из племени духов, / Но не житель Эмпирея» (т. е. высшей области небесных сфер).

Выделяется эта строфа и в сюжетном отношении. Как первая, предшествующая ей, так и последующие строфы (III–V) описывают прежде всего физические действия, совершаемые духом-недоноском или происходящие с ним: «Доле-тев до облаков, / Опускаюсь я слабея...», «... ношусь <...>/ Меж землей и небесами» (I), «играю в вышине», «ластюсь», «пью... воздух тонкой», «пою» (III), «дуновенье роковое» его «вьет, крутит... мчит» (IV), его «Бьет... древесный лист, / Удушает прах летучий» (V). Во второй строфе действие, напротив, отсутствует, а фокус переносится на чувства и ментальные состояния героя: «В разуменье / Мне <...>/ Не дано их провиденье», «Духи высшие <...>/ Постигают тайны мира», «Мне лишь чувство бытия...». Такие характеристики и сентенции мы находим затем лишь в финальных строках («Мир я вижу как во мгле...»).

В центре второй строфы, таким образом, оказывается декларативная автохарактеристика, признание недостижимого превосходства «духов высших» над ничтожным духом-слепцом. Самоумаление героя именно в этой строфе достигает предела за счет эксплицированного противопоставления: «духи высшие, не я», которое после исключения этой стро-

фы можно вывести лишь косвенно.

Не раз справедливо отмечалось, что центральный образ стихотворения проецируется на судьбу поэта и личное самоощущение Баратынского в середине 1830-х годов⁴. Этот «метапоэтический» контекст позволяет увидеть в оппозиции «духи высшие» vs «ничтожный дух» отражение одного из ключевых противопоставлений литературной эстетики 1820-1830-х годов: «субъективные поэты», которым подвластен лишь мир собственной души (Байрон, Шиллер), и всеохватывающие, объективные поэты-гении, способные облететь мыслью весь мир, самым ярким представителем которых безоговорочно признавался Гете⁵.

В пользу такого прочтения свидетельствует в том числе мощный интертекстуальный пласт «Недоноска» – прежде всего гетеанские подтексты стихотворения. Еще в давней работе В. Ляпунова была отмечена переключка заглавного образа с Гомункулом из второй части «Фауста»⁶. Затем Н.Н. Мазур обратила внимание на автоотсылку к программному стихотворению самого Баратынского «На смерть Гете», содержащуюся в интересующей нас строфе (ср. «Духи высшие, не я / Постигают тайны мира...» – «Крылатою мыслью он мир облетел», «С природой одною он жизнью дышал / Ручья разумел лепетанье / <...> Была ему звездная книга ясна...», «Изведан, испытан им весь человек!...»)⁷.

Намеченный ряд гетеанских подтекстов «Недоноска» и,

в частности, его второй строфы можно продолжить. Переклички с текстом Баратынского обнаруживаются в стихотворении Гете «Гений, парящий над земным шаром, одною рукою ввысь, другою вниз указующий» («Schwebender Genius liber der Erdkugel mit der einen Hand nach unten, mit der andern nach oben deutend», 1826–1827). Этот экфрастический текст (точнее, серия стихотворных текстов-подписей) был сочинен Гете к одной из аллегорических картин, заказанных поэтом художнику и архитектору А. Гейделофу для Веймарской художественной школы. В 1825 году изображения были перенесены на фасад дома Гете в Веймаре, а затем гравированы на отдельных листах⁸. Известно, что такие гравюры с соответствующими стихами Гете дарил некоторым друзьям⁹. При жизни Гете отдельные строфы публиковались в немецкой периодике, едва ли хорошо известной русскому читателю; сводный текст был впервые напечатан в VII томе посмертного собрания сочинений (1833)¹⁰:

Zwischen Oben, zwischen Unten
Schweb'ich hin zu muntre'r Schau,
Ich ergotze mich am Bunten,
Ich erquicke mich im Blau.

Memento mori! giebt's genug,
Mag sie nicht hererzählen;
Warum sollt' ich im Lebensflug

Dich mit der Grenze qualen?
Drum als ein alter Knasterbart
Empfehl' ich Dir *docendo*
Mein theurer Freund, nach Deiner Art,
Nur *vivere mementol*

Wenn am Tag Zenit und Ferne
Blau ins Ungemefine fliefit,
Nachts die Überwucht der Sterne
Himmlische Gewolbe schliefit,

So am Griinen, so am Bunten
Kraftigt sich ein reiner Sinn,
Und das Oben wie das Unten
Bringt dem edlen Geist Gewinn.

Между небесами и землей
Я несусь вслед за веселым зрелищем,
Я веселюсь яркостью,
Я наслаждаюсь синевой.

Помни о смерти! – говорят все время,
Мне не хочется это повторять;
Зачем мне сдерживать
Границами полет твоей жизни?
Потому я, старый ворчун,
Советую тебе назидательно:
Мой милый друг, на свой лад

Помни жить!

Днем ли, когда зенит и даль
И лазурь перетекает в бесконечность,
Ночью ли, когда тягота звезд
Замыкает небесный свод, —

От зелени и пестроты
Набирается сил чистый разум,
И земля и небеса
Обогащают благородный дух.

Как и «Недоносок», стихотворение Гете представляет собой монолог неземного существа – гения, парящего между небом и землею, откликающегося на состояние природы и наблюдающего мир: «И ношусь <...>/ Меж землей и небесами» – «Между небесами и землей / Я несусь...», «Весел я небес красой...» – «Я наслаждаюсь синевой <небес>». Но, в отличие от духа-недоноска, гений Гете находит в созерцании земли и небес смысл истинного бытия и торжество духа – то есть, говоря словами Баратынского, «постигает тайны мира», в противоположность тому, кому «в разуменье» дара провидения не дано. Таким образом, словесные и образные переклички¹¹ со стихотворением Гете, поддержанные и на метрическом уровне (в обоих текстах – четырехстопный хорей¹²), подчеркивают полемическую ориентацию центрального образа «Недоноска». В таком контексте за противопо-

ставлением «Духи высшие, не я» трудно не увидеть антитезу гармоническому и всеобъемлющему гению Гете и подобным ему «объективным» гениям.

Может быть, именно категоричная полемичность второй строфы предопределила ее судьбу в «Сумерках». Судя по другим текстам сборника, подвергшимся авторедактуре при подготовке книги, Баратынский не раз сокращал те фрагменты, в которых поэтические формулировки достигали предельной однозначности. Так, например, поэт поступил с «Осенью», убрав в редакции «Сумерек»¹³ десятистрочный фрагмент – окончание VIII и начало IX строф первоначальной редакции:

Изведена тобою глубина
Людских безумств и лицемерий.
*Алкаемых неопытным тобой,
Сердечных нег вкусив отраву,
Ты, может быть, любовью мировой
Пылая, звал и ведал славу?
О для тебя уже призраков нет,
Их разогнал неодолимый свет!
Кругом себя взор отрезвельный ты
С недоумением обводишь;
Где прежний мир? Где мир твоей мечты?
Где он! ты ищешь, не находишь!*¹⁴

Помимо этого, ко времени работы над «Сумерками» из-

менило круг ближайших ассоциаций само представление об объективном, всеобъемлющем гении – таким «духом высшим» оказывался прежде всего «русский Гете» – Пушкин¹⁵. В этой перспективе полемическое упоминание «духов высших», окруженное не только отсылками к Гете, но и опознаваемыми пушкинскими реминисценциями¹⁶, могло показаться неуместным противопоставлением безвременно погибшему Пушкину.

Обнаруженная отсылка к тексту Гете заставляет вновь обратиться к проблеме «Баратынский и немецкая поэзия»¹⁷, интерес к которой до сих пор остается минимальным, так как устойчиво считается, что немецкого языка поэт не знал или знал его очень плохо, а потому поиск немецких источников (за исключением переводившихся текстов) непродуктивен. Применительно к разбираемому стихотворению Гете нельзя, конечно, совершенно исключить возможность находки французского перевода-посредника, однако в доступных библиографических справочниках такой перевод, относящийся ко времени до 1835 года, не зафиксирован¹⁸; судя по библиотечным каталогам¹⁹, лирические тексты Гете вообще, в отличие от его драм, поэм и прозы, особенной популярностью у французских переводчиков не пользовались.

В то же время вопрос о том, насколько Баратынский (не) владел немецким языком, несомненно, требует новых уточнений, потому что даже биографические свидетельства о

степени его знакомства с языком Шиллера и Гете исключительно противоречивы, на что недавно справедливо обратила внимание Д.М. Хитрова²⁰.

Вслед за нею напомним эпистолярные высказывания поэта, касающиеся его осведомленности в немецком. «Не зная немецкого языка, я очень обрадовался случаю познакомиться с немецкой эстетикой», – писал Баратынский Пушкину в начале 1826 года, сожалея о том, что «не читал Канта» и не вполне знаком с «трансцендентальной философией», предметом увлечения его московского окружения²¹. «Поблагодари за меня милую Каролину <Яниш> за перевод „Переселения душ“. Никогда мне не бывало так досадно, что я не знаю по-немецки...», – замечал он в письме к И.В. Киреевскому 1832 года²². С другой стороны, существуют и свидетельства противоположного содержания: еще в письмах к матери из Пажеского корпуса Баратынский сообщал об учебных переводах с немецкого («перевожу <... > с немецкого на русский»²³), затем, уже в Финляндии, он подробно рассказывал ей о своем немецком чтении:

Я продолжаю читать по-немецки. Бог знает, есть ли успехи, по крайней мере, я докучаю всем офицерам, знающим этот язык, своими вопросами и желанием говорить на нем. Эти господа весьма забавны и, даром что немцы, на своем языке умеют только разговаривать, а читать не способны, и

очень редко могут мне помочь; я вынужден оставлять места, которые не могу перевести со словарем²⁴.

Определенных успехов в своих занятиях Баратынский, вероятно, добился – по крайней мере в его формулярном списке 1826 года указано, что «предъявитель сего <... > по Российски, Французски и Немецки читать и писать умеет»²⁵.

Существеннее, что в нашем распоряжении есть сведения и о прямых обращениях Баратынского к немецкой поэзии. В его письме А.П. Елагиной осенью 1829 года содержится, по всей видимости, до сих пор не отмеченный отзыв о стихотворении Г. Гейне «Du bist wie eine Blume...», высоко оцененном русским поэтом:

Я вам премного обязан за присланные вами стихотворения. В них много простодушия и оригинальности. Стихотворение про ласточек исполнено грации; но мне еще более нравится: «Du bist wie eine Blume»²⁶. В этом последнем есть чувство, которое, конечно, испытал всякий, кто только одарен душою не чуждой восторженности; но никто не решался выразить этого чувства, по чрезвычайной простоте его²⁷.

Из дневниковой записи А.И. Тургенева от 22 января 1835 года мы знаем и о переводе «стиха Гете», выполненном Баратынским, который, как показала в недавней статье Д.М.

Хитрова, был переводом стиха из баллады Шиллера «Кубок» («Der Taucher») ²⁸.

Все эти факты позволяют думать, что, несмотря на свои эпистолярные заявления, Баратынский вполне мог читать и понимать стихотворные тексты на немецком языке. Его внимание к Гете едва ли нуждается в дополнительном комментарии, достаточно вспомнить цитировавшуюся выше эпиграфическую «великому старцу», написанную в апреле-мае 1832 года и опубликованную в альманахе «Новоселье» в начале 1833 года ²⁹. Можно предположить, что Баратынский держал в руках посмертное собрание сочинений Гете, которое обстоятельно рецензировалось в русской периодике, в частности в развернутых статьях К.А. Полевого в «Московском телеграфическом листе» ³⁰. Также нельзя исключать, что он мог знать о гравюре со стихами, ведь в окружении Баратынского было немало людей, знакомых с Гете и посещавших его дом в Веймаре ³¹.

К числу популярных в России текстов немецкого поэта эта обсуждаемое стихотворение не принадлежало ³², но тем любопытнее отметить интерес именно к этому произведению Гете среди литературных знакомцев Баратынского. В коллекции П.Я. Дашкова сохранился перевод «Schwebender Genius über der Erdkugel», сделанный Н.Ф. Павловым и датированный в рукописи 3 ноября 1840 года ³³.

Гений парящий над земным шаром (из Гёте)

Между солнцем и землею
В созерцаньи я ношусь;
Чудной неба синевою
Я люблюсь, веселюсь.

Memento mori. Ах довольно!
Зачем мне это повторять?
И в жизни светлой и привольной
О смерти скорбной вспоминать?
Как старый школьник-лицемер
Я говорю тебе docendo:
«Мой милый друг, на свой манер
«Лишь vivere memento».

Днем светило золотое
В небе радостно блестит;
Что-то чудное, святое
Шепчет лес, волна звучит...
Ночью лунною сребруются
Гор верхи и деревья;
Волны с шумом не катятся,
Не колыхнется вода...
И в природе ум высокий
Наслаждение найдет.
В целом мире смысл глубокий
Он оценит и поймет.

Помимо самого факта обращения к этому тексту Гете,

перевод Павлова примечателен близкими словесными пере-
кликками со стихотворением Баратынского:

*Между солнцем и землею
В созерцаньи я ношусь;*

*Чудной неба синевою
Я люблюсь, веселюсь.
<...>*

*Днем светило золотое
В небе радостно блестит;
Что-то чудное, святое
Шепчет лес, волна звучит.*

*И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.*

Весел я небес красой...

Блещет солнце – радость мне!

Может быть, в этих текстовых схождениях стоит видеть косвенное свидетельство тому, что гетевский подтекст «Недоноска» не остался вовсе не замеченным современниками.

Примечания

¹ Московский наблюдатель. 1835. Ч. 1. Апрель. Кн. 1 [ценз. разр. 30 апреля; ценз, билет 20 мая: ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5. № 89. Л. 113 об. – 114; вышел 22 мая: Московские ведомости. 1835. № 41. 22 мая. С. 2047]. С. 526–528 (подпись: *Е. Баратынский*).

² Недостающие в первой публикации строки традиционно реконструировались с опорой на позднейшую редакцию «Недоноска» в цензурной тетради (ПД. Ф. 33. Оп. 1. № 43. Л. 11 об. – 13 об.) и в печатном сборнике (Сумерки. Сочинение Евгения Боратынского. М., 1842. С. 31–35). Однако не менее авторитетным источником в данном случае представляется сохранившаяся в семейном архиве копия ранней редакции, записанная С.Л. Энгельгардт в тетради со стихотворениями первой половины 1830-х гг. (РГАЛИ. Ф. 394. Оп. 1. № 170. Л. 47 об. – 48 об.). Чтение финальных стихов в копии совпадает с вариантом цензурной тетради:

«В тягость роскошь мне твоя, / О, бессмысленная вечность!», но в VI строфе копия С.Л. Энгельгардт расходится как с цензурной тетрадью, так и с окончательным текстом сборника, что затрудняет надежную реконструкцию авторского текста, отданного в редакцию «Московского наблюдателя». Ср.: «Смутно слышу я порой / *Шум* враждующих народов, / Поселян *безумных* вой / Под бичем их переходов, /

Гром войны и крик страстей» (копия С.Л. Энгельгардт) – «Смутно слышу я порой / *Клич* враждующих народов, / Поселян *беспечных* вой / Под бичем <в „Сумерках“: „Подъ грозою“^с их переходов, / Гром войны и крик страстей...» (цензурная тетрадь).

³ См.: ПД. Ф. 33. Оп. 1. № 43. Л. и об. – 13 об.

⁴ См.: Мазур Н.Н. «Недоносок» Баратынского // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М., 1999. С. 141, 145–147, 156; Песков А.М. Е.А. Баратынский: Очерк жизни и творчества // Баратынский Е.А. Поли. собр. соч. и писем. М., 2002. Т. 1. С. 63–67.

⁵ См., например: Мазур Н.Н. Указ. соч. С. 149; Хитрова Д.М. Литературная позиция Е.А. Баратынского 1820 – первой половины 1830-х гг. Дисс.... канд. филол. наук. М., 2005. С. 179.

⁶ Liapunov V. A Goethean Subtext of E.A Baratynskij's «Nedonosok» // Slavic Poetics: Essays in honor of Kiril Taranovsky. The Hague, Paris, 1973. P. 277–281. См. также: Мазур Н.Н. Указ. соч. С. 161.

⁷ Мазур Н.Н. Указ. соч. С. 149. Сопоставление можно расширить, обратив внимание на общую метафорику полета в обоих стихотворениях: ср. «Крылатою мыслью весь мир облетел...», «К предвечному легкой душой взлетит...» – «Долетев до облаков / <...> ношусь – крылатый вздох / Меж зем-

лей и небесами». Если «высший дух» Гете, «все дольное долу отдавший», может взлететь к небесам, к Предвечному, то дух-недоносок обречен вечно носиться «меж землей и небесами», не имея возможности ни прикоснуться к заоблачному Эмпирею, ни воплотиться на земле. См. также: *Савинков С.В., Фаустов А.А.* «Недоносок»

Е.А. Боратынского как авторский миф // Венки Боратынскому: Материалы I и II Российских научных чтений «Е.А. Боратынский и русская культура» 21–23 июня 1990, 20–23 мая 1994. Мичуринск, 1994. С. 101–103.

⁸ См.: *Гете И.-В.* Собр. соч.: В 13 т. М.; Л., 1932. Т. 1: Лирика. С. 661 (примеч. А.Г. Габричевского).

⁹ Перечень подаренных автографов см.: *Goethes Werke / Hgs. im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen.* Weimar, 1910. Bd. 5. Abt. 2. S. 94–95.

¹⁰ *Goethe's Nachgelassene Werke.* Stuttgart; Tübingen, 1833. Bd. 7. S. 146–147. В ряде позднейших авторитетных изданий Гете (см., например: *Goethes Werke.* Weimar, 1891. Bd. 4. S. 134–135; *Goethes Samtliche Werke.* Jubiläums-Ausgabe. Stuttgart; Berlin, 1902–1912. Bd. 2. S. 126–127) на основании одного из автографов в состав текста включались еще две строфы, примыкающие к первому катрену: «Und wenn mich am Tag die Feme / Luftiger Berge sehnlich zieht, / Nachts das Übermaß der Sterne / Prachtig mir zu Haupten gliht – // Alle Tag und alle Nächte / Rühm ich so des Menschen Los; / Denkt

er ewig sich ins Rechte, / Ist er ewig schon und grofi» («И когда дневные дали / Гор воздушных взор манят, / Иль ночами засверкали / Звезды там, за рядом ряд, – //Я вседнев-но и всенощно / Человечий славлю рок: / Ежель мыслишь правомощно, / Будешь дивен и высок» – перевод М.А. Кузмина: *Гете И. -В. Собр. соч. Т. 1. С. 515*). Эти восемь строк были впервые опубликованы в журнале «Chaos» при жизни Гете (1829.1. Jahrgang. № 52. S. 208), а затем появились в альманахе, изданном А. Шамиссо и Г. Швабом (Deutscher Muse-nalmanach fur das Jahr 1833. S. 6), где были напечатаны как часть другого стихотворения «Dornburg, September 1828» («Früh wenn Tal, Gebirg und Garten...»); то же решение было принято и в посмертном издании: Goethe's Nachgelassene Werke. Stuttgart; Tübingen, 1833. Bd. 7. S. 68–69).

¹¹ Отметим также сходные ритмико-синтаксические конструкции, основанные на повторах внутри стиха, в текстах Гете и Баратынского: «Zwischen Oben, zwischen Unten...», «So am Grünen, so am Bunten..» – «Надо мной и подо мной...», «Бедный дух! ничтожный дух!...», «Бури грохот, бури свист! / Вихорь хладный! вихорь жгучий!»

¹² В полиметрическом тексте Гете (х4 + я4/3 + х4) строфы четырехстопного хорея занимают «ударные» места: это первый катрен, задающий ритмическое ожидание, и финальное восьмистишие.

¹³ См.: Сумерки. Сочинение Евгения Боратынского. С. 74–75-

¹⁴ Современник. 1837. Т. V. № 1. С. 282–283. Выделенный курсивом фрагмент Баратынский сократил еще при подготовке рукописи сборника для первого представления в цензуру (см.: ПД. Ф. 33. Оп. 1. № 43. Л. 29–29 об.).

¹⁵ См. об этом: *Песков А.М.* К истории происхождения мифа о всеотзывчивости Пушкина // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 230–238.

¹⁶ Наиболее обстоятельный разбор переключек с пушкинскими текстами, прежде всего с «Бесами», см.: *Мазур Н.Н.* Указ. соч. С. 147–149.

¹⁷ Ср. категорическое суждение В.М. Жирмунского в авторитетном исследовании «Гете в русской литературе»: «Никаких следов знакомства с лириком Гете мы не находим у Баратынского, воспитанного всецело на французской поэтической и философской культуре» (*Жирмунский В.М.* Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 116).

¹⁸ См.: *Baldensperger F.* Bibliographie critique de Goethe en France. Paris, 1907. P. 73–82. Самый ранний известный французский перевод стихотворения – прозаическое переложение Анри Блаза: *Poesies de Goethe / Traduites pour la premiere fois par le Baron Henri Blaze.* Paris, 1843. P. 289–289 (заглавие: «Un Genie, prenant son essor au-dessus du globe»).

¹⁹ Были просмотрены каталоги Национальной библиоте-

ки Франции (www.bnf.fr), Берлинской государственной библиотеки (<http://staatsbibliothek-berlin.de>), иностранный каталог Российской национальной библиотеки.

²⁰ *Хитрова Д.М.* Неизвестный стих Баратынского // Тыняновский сборник. Вып. 12: Десятые – Одиннадцатые – Двенадцатые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2006. С. 209–210.

²¹ Летопись жизни и творчества Е.А. Боратынского / Сост. А.М. Песков; Текст подгот. Е.Э. Лямина, А.М. Песков. М., 1998. С. 172–173 (письмо от начала января [после 7] 1826 г.).

²² Там же. С. 293 (письмо от конца апреля – начала мая 1832 г.). См. также письмо В.А. Эртеля к Баратынскому от 19 февраля 1836 г.: «Как я жалею, что Ты не знаешь немецкого языка, ибо Ты богат душою и воображением, а немецкий есть язык сердечный и фантастный; и я бы тогда на своем природном языке сказал Тебе гораздо лучше, сколь искренно я Тебя люблю» (Там же. С. 332; подлинник письма: ПД. Ф. 33. Оп. 1. № 97).

²³ Там же. С. 62 (письмо от конца 1812 г.).

²⁴ Там же. С. 125 (письмо от апреля [до 22] 1823 г.).

²⁵ См.: ПД. Ф. 33. Оп. 1. № 61. Л. 3; ПД. Ф. 33. Оп. 1. № 65. Л. 1 об. – 2.

²⁶ Ср. перевод А.Я. Мейснера: «Ты как цветок невинна, / Мила и хороша, / Но где тебя ни встречу – / Тревожится душа. // Я руки над тобою / С молитвой бы скре-

стиль, / Чтоб Бог тебя прекрасной / И чистой сохранил» (Полное собрание сочинений Генриха Гейне в переводе русских писателей под редакцию П.В. Быкова. М., 1900. Т. 1. С. 185). Нельзя исключать, что под «присланными стихотворениями» мог иметься в виду сборник Гейне «Книга песен» («Buch der Lieder», 1827), куда вошел названный текст (см.: Buch der Lieder von H. Heine. Hamburg, 1827. S. 223). В таком случае второе стихотворение («про ласточек» – «celle des hiron-delles»), упомянутое в письме Баратынского, вероятно, – «Im Walde wandl'ich und weine...» (Ibid. S. 181), которое так же, как «Du bist wie eine Blume...», помещено в цикл «Heimkehr» («Возвращение домой»; перевод Л.А. Мея: «По лесу брожу я и плачу, / А дрозд сквозь густые листья / Мне свищет, порхая по веткам: / «О чем закручинился ты?» // Узнай у сестриц, у касаток – / Они тебе скажут – о чем: / Весной они гнезда лепили / У милой моей под окном» [Полное собрание сочинений Генриха Гейне... Т. 1. С. 157]).

²⁷ Летопись жизни и творчества Е.А. Баратынского. С. 232 (письмо от второй половины октября – ноября 1829 г.); перевод уточнен по французскому оригиналу: Сочинения Евгения Абрамовича Баратынского. М., 1869. С. 518.

²⁸ Хитрова Д.М. Неизвестный стих Баратынского. С. 207–213.

²⁹ См.: Баратынский Е.А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 2. Ч. i: Стихотворения 1823–1834 годов. М., 2002. С. 278–279.

³⁰ [Полевой К.А.] О сочинениях Гете, изданных после его смерти // Московский телеграф. 1834. Ч. 55. № 1. С. 3–22; № 2. С. 197–221.

³¹ Среди русских посетителей Гете, побывавших в Веймаре после 1826 г., – А.И. Тургенев, В.А. Жуковский, С.П. Шевырев, А.И. Кошелев (см.: *Дурылин С.* Русские писатели у Гете в Веймаре // Литературное наследство. [Т.] 4–6: [Гете]. М., 1932. С. 296–297, 340–350, 450–466, 492–495). Впоследствии Веймар посетил и сам Баратынский, однако это произошло лишь осенью 1843 г., во время семейного заграничного путешествия. Беглый рассказ о веймарских впечатлениях см. в письме жены поэта Н.Л. Баратынской, адресованном ее сестре Софье Львовне Путяте (РГАЛИ. Ф. 394. Оп. 1. № 80. Л. 70): «Nous avons consacre une journee aux curiosites de Weymar dont la plus interes-sante est un magnifique buste de Gothe jeune homme; on dirait Apollon de Belvedere; du reste Weymar est un bien melancolique duche» («Мы посвятили день достопримечательностям Веймара, самая интересная из которых – великолепный бюст молодого Гете <очевидно, имеется в виду известная работа А. Триппеля>: он словно Аполлон Бельведерский; в остальном же Веймар – весьма унылое герцогство»).

³² В обстоятельной библиографии русских переводов зафиксирован только перевод М.А. Кузмина, сделанный для юбилейного издания 1932 г.: *Житомирская З.В.* Иоганн

Вольфганг Гете: Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке, 1780–1971. М., 1972. С. 145 (№ 1312).

³³ ПД. Ф. 93. Оп. 3. № 935. Л. 1 об. Под текстом дата: «3-го ноября 1840» и подпись: «Н. П<авлов>». Стихотворение записано на отдельном листе со «Страшной исповедью» («Есть замок на севере дальном...»), имеющей подзаголовков «Шотландская баллада» и дату под текстом: «1-го ноября 1840». Наверху листа (Л. 1) помета неизвестной рукой: «Стихи Павлова, им самим писанные». Оба стихотворения впервые опубликованы (с неточностями): *Павлов Н. Ф.* Сочинения. М., 1985. С. 235–238.

Сергей Бочаров. Она уже пришла

Тема (и прямо – ее словесное выражение) взята со страниц солженицынского «Красного колеса». А также – с первой страницы книги Андрея Немзера об этом произведении («опыт прочтения»). Читатель-исследователь сумел найти это краткое слово на огромных просторах «повествования в отмеренных сроках» и поставить его во главу своего прочтения¹. «Она» – революция, она – *уже пришла*, неужели вы не видите? Она охватила нас уже который год <... > Воротынцев же – никак революции не видел» («Октябрь шестнадцатого», гл. 68). Личному герою писателя многое передано из понимания автора (и из его поведения: Воротынцев в ставке перед великим князем в последней главе «Августа четырнадцатого» ведет себя так, как будет вести себя сам Солженицын перед князьями советскими), но революции в октябре 16-го он еще не видит. Между тем поэт-футурист тогда же ее уже прозревает и называет, и зарифмовывает ее с человеческой слепотой: «где глаз людей обрывается куций <...> в терновом венце революций», предсказывая лишь с небольшой поправкой, хронологической, в том самом близком 16-м. Но разве это тоже не означает, что она уже пришла? Футуриста этого автор «Красного колеса» всегда особенно не любил, между тем поэтически тот оказывался прозорливее по сравнению с любимым героем автора в тот же

примерно исторический момент.

Автор повествования о русской революции – несколько не фаталист. Он видит это решающее событие как срыв нашей истории в пору, обещавшую иное будущее, он учитывает безмерную сумму ошибок и вин, исторически-общих и человечески-личных, обусловивших срыв, – ненужная страшно разрушительная война и отсутствие Столыпина при ее начале и в дальнейшие роковые годы прежде всего. Он называет трезво и приведшие к этому застарелые государственные и идейные мифы – панславистский и царьградский («почти всеобщее ослепление этим Константинополем, будь он неладен!»). При этом популярные объяснения конспирологические чужды ему вполне:

«Не нашлось ни среди бюрократов, ни среди общественных деятелей, ни среди генералов человека, который бы догадался, что времена заговоров, комplotов, комбинаций, закулисных интриг уходят в прошлое, что и раньше они не слишком сильно влияли на ход истории, а в XX веке – тем паче. Мы и сейчас принимаем эту мысль с великим трудом»².

Автор не фаталист, но в широчайше развернутом взгляде его на событие революции сохраняется нечто мистическое и даже, пожалуй, фатальное – как на тайну. Выразитель этого взгляда в романе (авторский) – Звездочет-Варсонофьев в его проповедании перед мальчиками: «История – *иррациональна*, молодые люди. У нее своя органическая, а для нас может быть непостижимая ткань <... > А на главные вопросы

– и ответы круговые. На *главный* вопрос и никто никогда не ответит» («Август...», гл. 42). В тексте этому соответствует обозначение надвигающегося и ожидаемого такими словечками, как – *она*, *оно* и *это*.

Наконец, и самое *красное колесо* как ключ символический. «Август четырнадцатого», глава 22 – бегство Ленина из Галиции, его страх на вокзале и его «диалектика»: «Диалектика: жандарм – вообще плохо, а в данный момент – хорошо». И тут же: «Большое красное колесо у паровоза, почти в рост». Жалкая, трусливая «диалектика», уничтожающе лежащая в его философский портрет, и его же, здесь же, узрение гениальное этого красного колеса как посланного ему наведения мифологического, какое от Ленина перейдет к Солженицыну и даст название книге. После, в самый момент революции, Ленин слеп, она приходит «сама», а он к ней затем придет на готовое, на не занятую и брошенную обществом власть.

«Почему революция победила Россию?» – так читатель-исследователь формулирует главный вопрос³. Россия и революция – большие главные лица солженицынской эпопеи. Но тема уже точно так была сформулирована в середине еще XIX столетия Тютчевым. Точно так сформулирована, но поставлена и решена была диаметрально иначе, и здесь вопрос для нас, на который и «Красное колесо» не дает достаточного ответа (но и нет его, по Варсонофьеву, «на *главный* вопрос»).

«Россия и Революция» – статья была написана Тютчевым в 1848-м по-французски и по-французски же была тогда же в Париже опубликована. Так он переформулировал уже традиционную нашу к тому времени тему о России и Европе: приравнял Европу к революции как судьбе Европы и отделил, отмежевал от революции Россию.

«Уже давно в Европе существуют только две действительные силы (*deux puissances reelles*): Революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества»⁴.

На равных с Россией Тютчев пишет и Революцию с заглавной буквы, как имя собственное. В его картине мира это две духовно непримиримые личности-силы. Картина, какая в будущем перейдет в солженицынскую картину, и выписанные заглавные тезисы Тютчева будут в точности ей соответствовать (вплоть до «февральского взрыва» – тоже февральского! – февральской революции 1848-го в Париже, отозвавшейся и в Германии, быстрой реакцией на что и стала тютчевская статья). Но на «исход борьбы между ними» автор статьи рассчитывал и видел его радикально иным.

Мировая и европейская ситуация в его описании: «В теперешнем состоянии мира лишь русская мысль достаточ-

но удалена от революционной среды, чтобы здраво оценить происходящее в ней». Тютчев пророчит европейский крестовый поход на Россию, «который всегда был заветной мечтой Революции, а теперь стал ее воинственным кличем», и планирует обратный крестовый поход как наше призвание. В дело включается тютчевская «*reverie gigantesque*», как называли ее оппоненты на Западе, и что можно перевести и как «исполинскую грёзу», и – как выразительно переводят в литературе о Тютчеве (Р. Лэйн) – «исполинские бредни»⁵. Бредни были воистину исполинские – историческая программа «будущей России»: «Православный Император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима. Православный Папа в Риме, подданный Императора»⁶. Программа мечтаемой будущей русско-славянско-византийской империи. Тот самый панславизм и тот самый Константинополь, который в «Красном колесе» оценены именно как застарелые «исполинские бредни», готовившие войну и через нее революцию. Та самая знаменитая «Русская география» тютчевская (на которую тоже есть трезвый ответ у Солженицына: есть «некая мера расширения» и для России; «у народа – тоже есть пределы» – «Октябрь шестнадцатого», гл. 22,28).

Русская революция в романе то и дело ссылается на параллель-образец – на Великую французскую, а у другой, солженицынской стороны (у Воротынцева) есть потребность – «распараллелить» («Октябрь...», гл. 29). Французская и у Тютчева действует как открытие гибельного процесса. Она

вообще заставила европейскую мысль, начиная с Эдмунда Бёрка (1790⁷), философски задуматься над самым явлением революции, и мистический образ ее как сатанинской силы, попущенной Богом для принесения человечеством искупительной жертвы, был начертан Жозефом де Местром («*Considerations sur la France*», 1796), близнецом-предшественником тютчевской мысли («к де Местру он психологически ближе, чем даже к Хомякову», – писал о Тютчеве Г.В. Флоровский⁸). Де Местр говорил о революции, «предписанной свыше»⁹, и, проклиная ее, мистическим поворотом мысли давал ей религиозное оправдание. Он угадал ее не как отдельное событие, но как «эпоху», как «французскую или, лучше сказать, Европейскую революцию»¹⁰.

В тютчевском толковании «Революция это не только враг из плоти и крови, Она более чем Принцип. Это Дух, Разум...» («*C'est un Esprit, une Intelligence...*»¹¹). *C'est un Esprit*, это Дух! Один из первых не только у нас, но в Европе он так мощно понял ее не только как политический факт, но как духовную силу, вступившую в историческую борьбу с духовной силой христианства. «Православный граф де Местр», как Тютчева окрестил его приятель по молодости Иван Гагарин¹² (его оппонент во французской печати, к этому же времени эмигрант и католический священник-иезуит) – он произвел романтическую спиритуализацию явления Революции вслед за де Местром (умерив мистический ореол, которым

тот ее наградил сверх меры и сообщил ей тем самым религиозную санкцию). Парадокс сочинения Жозефа де Местра был в признании чудесности проклинаемого события, словно цветения дерева в январе, во взгляде на него как на силу сверхчеловеческую. «Никогда не лишне повторить, что отнюдь не люди ведут революцию, а что сама революция использует людей в своих собственных целях. Очень верно, когда говорят, что она *свершается сама собой*»¹³. Чем не *красное колесо*?

Тютчевский образ революции возник уже на следующем европейском этапе, когда она себя обнаружила как цепная реакция, как непрерывно действующая в новой истории и нарастающая в ней сила. Европа прошла уже через несколько взрывов и непрерывно менялась в них — *зима железная* государственной русской истории до катастрофы Крымской войны казалась недвижной, она лишь раз *дохнула* на кровь героев Сенатской площади — *И не осталось и следов*. Так поэт фиксировал национальное историческое состояние сразу после события (в 1826-м), 20 же лет спустя на европейском фоне наш *вечный полюс* уже предстал в его поэзии как не только могучий, но и надежный *утёс*. Мы привыкли тютчевскую политическую лирику отделять от его основной поэзии (и даже печатать ее отдельно, словно стихи второго тютчевского сорта), но в живописании исторически грозного, и Революции прежде всего, космические силы тютчевской лирики полноценно участвуют.

Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила —
И пучину взворотила
И поставила вверх дном?

(«Море и утёс», 1848)

Стихотворная параллель статье «Россия и Революция». Но не вспоминается ли и нечто памятное из нашей поэзии за 15 лет до того?

Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь...

И также:
Словно горы,

Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились...

В «Медном всаднике» словно уже заготовлены параллельные места к будущей тютчевской политической лирике. Читаем ее – не то же ли море, не та же ли глубина и не тот же ли огонь?

Но с нами Бог! Сорвавшись со дна,
Вдруг, одурев, полна грозы и мрака,

Стремглав на нас рванулась глубина...

(«Уж третий год беснуются языки..1850)

Пушкинская картина петербургского наводнения – совсем не голая политическая аллегория Тютчева. Но и Пушкин был весьма озабочен европейскими революциями (в 1830-е годы особенно) и угрозой русского бунта. И тайно в его поэме бунт водной стихии против державного города и бунт малого человека против державного всадника эту угрозу в себе заключали. За 15 лет до тютчевской политической лирики «Медный всадник» тайно пророчил русское будущее как борьбу огромных сил Империи и Революции – двух главных героев тютчевской историософии. И Тютчев 15 лет спустя своим «Морем и утёсом» поэтически и статьей «Россия и Революция» теоретически эту борьбу заговаривал-заклинал.

Так и «Медный всадник» оказывается тайно имеющим отношение к нашей теме. В последующих его отражениях в литературе скрытое выходило в открытый текст: в «Петербурге» Андрея Белого новоявленный Евгений («Александр Иванович, Евгений, впервые тут понял, что столетие он бежал понапрасну, что за ним грохотали удары без всякого гнева...»¹⁴) обернется эсером-террористом, а медный гость как первый наш революционер (Петр как «первый большевик») – его союзником и учителем.

Но это еще впереди, а если вернуться к Тютчеву в середине столетия предыдущего... Тютчевские море и утес вошли

метафорой в русскую мысль, и она продолжала действовать на самых ее верхах. В предпоследнем своем «Дневнике писателя» (август 1880-го, здесь же и пушкинская речь напечатана) Достоевский говорит о западных коммунарах и пролетариях: «они бросятся на Европу, и все старое рухнет навеки». Тут же и тютчевская метафора: «Волны разобьются лишь о наш берег, ибо тогда только, въявь и воочию, обнаружится перед всеми, до какой степени наш национальный организм особлив от европейского»¹⁵.

В том же «Дневнике», более раннем (январь 1876-го), Достоевский наблюдает иные, тревожащие текущие факты на предмет оценки национального организма, сообщая, к примеру, известие из сгоревшего села, где народ по призыву целовальника за бочку вина бросил горевшую церковь и спас кабак. «Церковь сгорела, а кабак отстояли. Примеры эти еще пока ничтожные, ввиду неисчислимых будущих ужасов» (22: 29). И все-таки последним словом Достоевского станет поучение Зосимы о том, что «неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь» (14: 285). Историческим ответом на это станет Ленин «Красного колеса».

Тютчевский тезис на тему «Россия и Революция» не уходит из идейной истории второй половины века. Он проходит испытание ходом событий и, с колебаниями, сильнейшей русской мыслью в основном подтверждается. Но и словно бы

на ближайшее будущее отмечается нечто – что, например, назовет Достоевский русской стороной европейских учений: «Состоит она в тех выводах из учений этих в виде несокрушимейших аксиом, которые делаются только в России; в Европе же возможность выводов этих, говорят, даже и не подозреваема» (21:132). Наиболее трезво заглядывает вперед Константин Леонтьев, и в его прогнозы последних лет жизни стоит всмотреться особенно; в русской мысли конца столетия это явление исключительное.

«Неужели же прав Прудон не для одной только Европы, но и *для всего человечества*? Неужели таково в самом деле *позволение* Божие и для нашей дорогой России? Неужели, немного позднее других, и мы с отчаянием *почувствуем*, что мчимся бесповоротно по тому же проклятому пути?»¹⁶.

В статьях последнего года жизни (1891) придвигаются сроки – уже не «немного позднее других»: «Россия же вполне бессловная не станет ли скорее, чем мы обыкновенно думаем, *во главе именно того общереволюционного движения*, которое неуклонно стремится разрушить когда-то столь великие культурно-государственные здания Запада? Наши Добролюбовы, Писаревы, Желябовы, Гартманы и Крапоткины – уже „показали“ себя. Ведь и это своего рода призвание; и это – историческое назначение *особого* характера» (689). Скорее, чем мы думаем!

«Иначе, через какие-нибудь полвека, не более, он из народа „богоносца“ станет мало-помалу, и сам того не заме-

чая, „народом-богоборцем“, и даже скорее всякого другого народа, быть может» (684). И сам того не замечая! Память Достоевского ядовито задета – с ним Леонтьев пришел в открытое столкновение еще при жизни писателя. А последнее слово в той же статье «Над могилой Пазухина» – предсказание о рождении в России антихриста, который будет еврей (вряд ли это должен быть гениальный антихрист Владимира Соловьева, которому надлежит явиться тоже скоро в литературу).

Такие прогнозы – «против нашей „русской шерсти“ да же» (468) – у Леонтьева нарастают. О возможности осуществления наиболее радикальных тенденций общеевропейского процесса на русской именно почве – вспомним и Достоевского наблюдение о русской стороне европейских учений – у Леонтьева же с национальным, «почвенным» обоснованием: «Почва рыхлее, постройка легче...» (697). Ведь по истокам мысли он был почвенник, в молодости пройдя через определяющее влияние журнала «Время» братьев Достоевских и статей Аполлона Григорьева. Метафора почвы важнейшая у него, и вот его сравнительная картина: «На Западе вообще бури, взрывы были громче, величавее; Запад имеет более плутонический характер; но какая-то особенная, более мирная или глубокая подвижность всей почвы и всего строя у нас, в России, стоит западных громов и взрывов» (153). Подвижность и рыхлость национальной почвы как тревожная предпосылка. Пластика этой метафоры нашему истори-

ческому сознанию многое говорит – Леонтьев был мастер таких пластических образов исторического процесса.

«Почва рыхлее, постройка легче». Что за постройка? Через полвека будет «слово найдено» – котлован. *Котлован* – безнадежное строительство Вавилонской башни на рыхлой почве.

«И теперь, если бы русский народ доведен был преступными замыслами, дальнейшим подражанием Западу или мягкосердечным потворством до состояния временного безначалия, то именно те крайности и те ужасы, до которых он дошел бы со свойственным ему молодечеством, духом разрушения и страстью к безумному пьянству, разрешились бы опять по его же собственной воле такими суровыми порядками, каких мы еще и не видывали, быть может!» (281).

По его же собственной воле! Суровые порядки он видел заранее: социализм-коммунизм как «новый феодализм, уже вовсе недалекого будущего», «новое рабство», царство «нового рода *организованной* муки». Но о предвидимом этом социализме судил при этом двойственно: предостерегал, и страшился, и связывал с ним историко-политические планы. Видел грядущий ужас, однако предпочитал современному буржуазному ничтожеству, хуже и безнадежнее – некрасивее – которого не было для него ничего.

И сама революция, столь отрицаемая, окрашена у Леонтьева эстетически. Однажды он очень красиво ее описал, представив ее поэтическим олицетворением, «так, как упо-

требляются иногда выражения:

„Муза“, „Свобода“, „Победа“». Революция – это «представление мифическое, *индивидуальное*, какая-то незримая и дальновидная богиня, которая пользуется слепотою и страстями как самих народных масс, так и вождей их для *своих собственных как бы сознательных целей*» (644–645). Дальновидная незримая богиня – не парадоксального ли очарования образ? «Представление мифическое...». Столетие спустя Леонтьев воспроизводит заново мифологическую картину Жозефа де Местра, выше цитированную: она «свершается сама собой». *Она уже пришла.*

С ходом лет, особенно в самые поздние годы, у Леонтьева в этом трехчлене – Россия, Европа и Революция – третий член начинал все больше смещаться в сторону России. Красное колесо наехало на Россию и с ней совместилось. Результат, оказавшийся неожиданным не только для наших национальных мыслителей, следовавшим за Тютчевым, но и бывший бы неожиданным для тех, кто сказал в свое время (одновременно с Тютчевым, в том самом 1848-м) о призраке, что бродит по Европе. Как, бродя по Европе, он забрел в никак не предназначенный ему как будто бы край? Тайна русской революции, которую еще предстоит исследовать, заключает в себе и такой момент таинственный, как ее идеологический – *марксистский* характер.

Комментатор в упоминавшемся томе 3 тютчевского собрания Б.Н. Тарасов цитирует слова Ф. Энгельса, сказанные

в 1853-м и полностью совпадавшие, пусть и по противоположности, с тютчевским тезисом: «...на европейском континенте существуют фактически только две силы; с одной стороны Россия и абсолютизм, с другой – революция и демократия»¹⁷. С противоположных идейных сторон, но в одном удивительно сходились Тютчев и Достоевский с Марксом и Энгельсом – в представлении о консервативном (реакционном для классиков марксизма) противостоянии не только царской, но и народной России западной революции. Но что сказал бы Тютчев, назвавший целый народ плагиатором (*le plagiaire*¹⁸) другого народа, когда в Германии 48-го года поднялась вослед французской своя революция, – что сказал бы он, увидев собственный народ плагиатором тех идей и утопий, которые он полагал судьбой европейского Запада?

И что сказали бы сами марксистские классики про историческое событие *марксистской* русской революции, так изменившее лик будущего столетия? Да и просто что бы они сказали про монументальные собственные памятники, до сих пор украшающие нашу восточную столицу? Или когда бы они могли заглянуть, например, в платоновский «Чевенгур» и встретить там собственное имя на языке его диковатых персонажей рядом с именами Ленина и Розы Люксембург? «Чепурный грустно затосковал и обратился за умом к Карлу Марксу...» Как вышло так исторически, что за умом к Карлу Марксу обратилось целое общество, от которого, вероятно, он сам никак бы этого не ожидал?

«Почему революция победила Россию?» Перед исследователем «Красное колесо» поставило этот вопрос, но тем самым оно побудило нас вспомнить Тютчева, для которого те же силы, Россия и Революция, представляли в обратном соотношении. В отечественной истории и в умах и воображении наших поэтов-мыслителей на протяжении столетия этот поворот красного колеса совершался.

Примечания

¹ Немзер А. «Красное колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения. М., 2010. С. 17: «Она уже пришла: „Август четырнадцатого^»).

² Там же. С. 148–149.

³ Там же. С. 12.

⁴ Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и писем: В 6 т. М., 2003. Т. 3. С. 42 (текст французский) и 144 (перевод Б.Н. Тарасова).

⁵ Литературное наследство. Т. 97: Федор Иванович Тютчев. М., 1988. Кн. 1. С. 234.

⁶ Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 201.

⁷ Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993. Эту книгу мог знать Пушкин: эпиграф из другого сочинения Бёрка был выписан им по-английски

(в переводе: «Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различие») в первоначальной беловой

рукописи первой главы «Евгения Онегина» (*Пушкин*. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 5. С. 487).

⁸ *Флоровский Г.* Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 346.

⁹ *Местр Ж. де.* Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998. С. 643.

¹⁰ *Местр Ж. де.* Рассуждения о Франции. М., 1997. С. 205, 211.

¹¹ *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 79, 183.

¹² Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. С. 45.

¹³ *Местр Ж. де.* Рассуждения о Франции. С. 12, 17–18; здесь и далее все выделения принадлежат цитируемым авторам.

¹⁴ *Белый А.* Петербург. Л., 1981. С. 306 (глава «Гость»).

¹⁵ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 26. С. 168; далее при цитатах из Достоевского ссылки на это собрание даны в скобках (номер тома и номер страницы).

¹⁶ *Леонтьев К.* Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 531; далее при цитатах ссылки на это издание даны в скобках (номер страницы).

¹⁷ *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. М., 1957. Т. 9. С. 15.

¹⁸ Переводчик (Б.Н. Тарасов) переводит ослабленно – «подражателем» (*Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 148).

Михаил Велижев. Крестовые походы – главное событие русской истории? Об одной устной реплике Чаадаева

Интеллектуальная жизнь Москвы в николаевское царствование (в отличие от позднейших эпох) в значительной мере определялась салонными разговорами. Фигура Чаадаева в особенности репрезентирует «домашнюю» локализацию московского публичного пространства. В результате скандала 1836 года, связанного с публикацией в «Телескопе» первого «Философического письма», окончательно утверждается репутация Чаадаева как «местной достопримечательности», образцового «умного» человека¹. После «Апологии безумца» и до своей смерти, с 1837 по 1856 год, Чаадаев создает считанное число текстов, пишет письма (часть которых до сих пор не опубликована) и активно участвует в салонных беседах. Идеальное салонное суждение, «словечко», парадоксально и аксиоматично, т. е. не нуждается в развернутом дополнительном обосновании. Кроме того, оно наполнено смыслом, понятным только из контекста разговора, смыслом, который нам необходимо реконструировать, а чаще угадывать. Чаадаевские «mots» дошли до нас в весьма небольшом количестве – в воспоминаниях и письмах современников, потому всякая новая запись, передающая чаада-

евское высказывание, обращает на себя внимание и требует интерпретации (с той оговоркой, что письменная фиксация устного высказывания всегда обладает определенной долей условности и требует критического к себе отношения). Об одной такой реплике и пойдет речь в настоящей статье.

В середине ноября 1839 года Московский университет после почти 30-летнего перерыва вновь посетил его воспитанник Петр Чаадаев. Об этом свидетельствует фрагмент письма О.С. Аксаковой к С.Т. Аксакову от 16 ноября 1839 года. В этот день Аксакова описала находившемуся в Петербурге мужу свое посещение дома Ф.Н. и А.П. Глинок на Садовой: «...нахожу у Глинок Чедаева который рассказывал что он был в Университете где не был 35 лет и удивился улучшению и что он упрекал Погодина как человека читающего историю что теперь один француз открыл или нашел где то в летописях что русские участвовали в Крестовых походах – смешно это слышать в устах Чедаева, который так выразился на счет русских»².

Насколько точно Аксакова передала высказывание Чаадаева, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но в данном случае будем исходить из того, что оригинальный тезис – «русские участвовали в крестовых походах» – мог быть услышан и понят ею правильно.

Что именно подвигло Чаадаева обратить внимание на университет, сказать сложно. По-видимому, сам Чаадаев

придавал этому событию большое значение – он явно завысил число лет, отделявших его новое посещение от времени окончания курса в 1811 году (разумеется, если это не абберация О.С. Аксаковой). Между тем московская интеллектуальная жизнь поздней осени 1839 года была отмечена двумя взаимосвязанными явлениями, которые способны прояснить интерес Чаадаева к академической жизни. Во-первых, это сближение двух социокультурных пространств – университетской аудитории и великосветского салона, во-вторых, участвовавшие разговоры о необходимости политического и культурного единства славянских православных народов, в ходе которых были актуализированы многие традиционные аргументы русской историософии («Porthodoxie fait des terribles ravages a Moscou», как это определял сам Чаадаев³). Окончательная кристаллизация западничества и славянофильства происходила отныне не только в светском кругу, но и на лекциях в Московском университете.

Импульс к переменам в академическом мире задал переезд в Москву Т.Н. Грановского. 7 сентября 1839 года новый университетский сотрудник с отчетливо западническими симпатиями открыл курс лекций по европейской истории. 27 ноября 1839 года Грановский писал Н.В. Станкевичу: «Славянский патриотизм здесь теперь ужасно господствует: я с кафедры встаю против него, разумеется не выходя из пределов моего предмета. За что меня упрекают в пристрастии к немцам. Дело идет не о немцах, а о Петре, ко-

торого здесь не понимают, и не благодарны к нему»⁴ (подобные выводы Грановский сделал после посещения дома Киреевских). Успех Грановского в студенческой аудитории с самого начала был несомненен и огромен⁵ – причем этот успех быстро вышел за пределы лектория и переместился в московские центры светской жизни. В письме к Станкевичу от 10 декабря Грановский замечал: «М.Ф. Орлов и дамы хотят слушать историю»⁶, а 4/16 января 1840 года сообщал супругам Фроловым: «В здешнем *хорошем* обществе теперь мода на ученость, дамы говорят об истории и философии с цитатами, а так как я слышу очень ученым человеком, то и получаю часто приглашения, за которые благодарю, оправдываясь занятиями. Недавно мне предложили читать курс Истории для дам...»⁷. Грановский, будучи блестящим оратором, рассказывал о ключевых для русского образованного дворянина сюжетах⁸ – западной средневековой истории, интерес к которой подогревался в предыдущие десятилетия (начиная с «Гения христианства» и «Путешествия из Парижа в Иерусалим» Ф.Р. Шатобриана и заканчивая романами В. Скотта).

Включение Грановского в штат московских профессоров существенным образом меняло расклад сил на философском факультете: начиналось расслоение на «строгановских» и «уваровских», на «западных» и «восточных». «Борьба партий» – открытая поддержка Грановского со стороны попечителя Московского учебного округа С.Г. Строганова и

его помощника Д.П. Голохвастова и одновременное сближение популярных профессоров (главным образом, М.П. Погодина) с министром народного просвещения С.С. Уваровым⁹ – возбуждала интерес публики. Университет с середины 1830-х годов обладал известной долей независимости, связанной с кураторством Строганова, считавшего своей обязанностью противостоять влиянию Уварова на московские дела.

Погодин и Грановский символизировали две крайние позиции – по читаемым предметам (русская и европейская истории) и взглядам («славянство» и апология «западного» пути русской истории¹⁰). Формально двое ученых стояли на разных ступенях университетской иерархии¹¹, однако идейные расхождения, внимание к Грановскому со стороны университетского начальства, популярность у студентов и светских дам создавали предпосылки для интеллектуального соревнования. Хотя внешне отношения между Погодиным и Грановским оставались благожелательными, некоторое напряжение между «старым» и «новым» историками чувствовалось с самого начала их соседства на факультете. 25 ноября 1839 года Грановский описывал свои связи с «уваровской» московской профессурой в письме к Станкевичу: «С Давыдовым, Погодиным и проч. на тонкой галантерейности»¹². Погодин 30 октября того же года замечал в письме к М.А. Максимовичу: «Университет наш комплектен, а все не до-

стает чего-то московского у этих новых, впрочем хороших людей»¹³. В контексте разворачивающегося противостояния «партий» в университетской и, шире, московской интеллектуальной жизни интерес Чаадаева к лекциям Погодина становится более понятным.

Тематика освобождения христианской святыни от неверных была актуализирована в 1828–1829 годах в связи с очередной русско-турецкой войной. Пристальное внимание русской публики к событиям XI–XIII веков было связано с очередной волной «романтизации» Средних веков¹⁴, в том числе и в исторической прозе В. Скотта. Оригинальной отечественной историографии крестовых походов в 1830-е годы еще не существовало¹⁵, публиковавшиеся же сочинения на эту тему¹⁶ почти целиком состояли из переложений работ европейских историков, для которых, напротив, крестовые походы представляли несомненный интерес. Благодаря усилиям прежде всего Ж.Ф. Мишо, чей монументальный труд «История Крестовых походов» переводился на русский язык в 1820-1830-е годы, борьба за Гроб Господень активным образом документировалась и снабжалась целостной интерпретацией¹⁷. Кроме того, раздел «Крестовые походы» обязательно включался в истории Средних веков, которые также выходили и по-русски¹⁸. Возросший на рубеже 1820-х и 1830-х годов «романтический» интерес к крестовым по-

ходам в последующее десятилетие во многом переводится в идеологическое русло: история войн с сарацинами вплетается в общую историческую мифологию, хотя и не входит в число ее центральных сюжетов¹⁹.

Репутация крестовых походов во французской исторической науке суммировалась Франсуа Гизо в восьмой лекции по истории европейской цивилизации (1828). Гизо четко размечал смысловые поля, связанные с историческим значением крестовых походов для Запада.

1. Крестовые походы символизировали рождение христианской Европы как единого целого: «Повсеместность, всеобщность – вот первый характер крестовых походов; в них участвовала вся Европа, они были первым европейским событием. До крестовых походов Европа никогда не приводилась в движение одним и тем же стимулом, никогда не участвовала в одном и том же деле; Европы, можно сказать, во все не было. Крестовые походы обнаружили существование христианской Европы»²⁰.

2. Крестовые походы олицетворяли не только внешнее единство европейских государств, но и их внутреннее социальное сплочение во имя одной высокой идеи: «...крестовые походы, будучи европейским событием, в то же время являлись для каждой страны событием народным; в каждой стране все классы общества одушевлялись одним и тем же чувством, находились под влиянием одной и той же идеи, стре-

мились к одной и той же цели»²¹.

3. Крестовые походы – следствие юности европейских народов, их героическое прошлое, без которого королевская Европа как «зрелая» историческая общность не могла бы состояться: «В юности народов, когда они действуют самобытно, свободно, без предварительного размышления, без политических намерений и соображений, – события, подобные крестовым походам, называются в истории героическими событиями, героическою эпохою жизни народа. <...> [Крестовые походы] положили основание слиянию различных элементов европейского общества в правительства и народы – слиянию, составляющему выдающийся признак новейшей цивилизации. К тому же самому времени относится развитие одного из учреждений, наиболее содействовавших этому великому делу, – королевской власти»²².

Судя по малому числу разновременных отзывов Чаадаева о крестовых походах²³, его точка зрения вполне совпадала с позицией Гизо.

Фундаментальная роль, которую сыграли крестовые походы в процессе формирования католической Европы, делало это историческое явление весьма значимым для Чаадаева. Неудивительно поэтому, что в ноябрьской лекции Погодина 1839 года Чаадаев выделил именно этот, на первый взгляд далекий от русской истории сюжет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.